

*Все, что память сберечь мне старается,
Пропадает в безумных годах...*

Александр Блок

ТУЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ, ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Пятого сентября 1978 года — Тула, поблизости дымят трубы Щекинского химкомбината, медленно иссыхает Ясная Поляна — его Ясная Поляна, моя Ясная Поляна, всех нас Ясная Поляна. Всего человечества. Несколько часов — в Приокском книжном издательстве. Директор Анатолий Васильевич Играев, главный редактор Людмила Александровна Москалева, редактор краеведческих изданий Станислав Дмитриевич Ошевский — радушие, напоминающее сибирское. Профессиональное знание и отзывчивость.

В Приокском издательстве готовится книга «Пушкин и Польша» — сложнейшая, драматичная тема, над которой я часто размышляю; такую тему даже «Науке» с ходу не осилить, а туляки взялись. Дай Бог, чтобы сложилось у них по чести и правде.

Вечером с Ошевским — познавательная прогулка по городу. Поднялись в верхнюю часть Тулы, остановились у поднятой из руин и восстановленной церкви, и было видно, что в городе — не одни разговоры о сбережении памятников старины. И вспомнилась мне своя работа над первыми двумя альбомами о Воронеже, когда предлагаемые в макете снимки церковей

резко перечеркивались областными верховными товарищами; не в подобной ли отвергательной резвости и резкости ранними главными переустроителями России перечеркивалась сама отечественная история с ее материальным бытом и духовным бытием? Ошевский показал короткий путь на «Растеряевку» — уголок Тулы, где родился писатель Глеб Успенский и где протекли его детские годы, и где я на другой день побываю. Широкий проспект, длинно протянутый, плавными каскадами стекает вниз к кремлю или, сказать иначе, вздымается вверх. Кремль строг, в духе русских зодческих традиций.

Вторая половина седьмого сентябрьского дня — **Ясная Поляна**. Дождь, казалось бы, обложной, но вот в просвете угрюмых туч светом надежды проглядывает солнце, и прекрасен природный облик Ясной Поляны! Во всем окрестном — словно доносятся шаги Толстого, чувствуется тревога и радость его души. И у могильного холмика побудь один, и ты долго стоишь один у его могилы, которую Илья Эренбург посчитал нескромной, далеко не простой, гордынной, а Стефан Цвейг назвал «прекраснейшей могилой в мире» и свое эссе о ней закончил так: «Ни гробница Наполеона под мраморным сводом во Дворце Инвалидов, ни усыпальница Гете в княжеском склепе в Веймаре, ни саркофаг Шекспира в Вестминстерском аббатстве не пробуждают с такой силой в человеке самое человеческое, как эта царственно безмолвная, трогательно скромная могила где-то в лесу, безответно внимающая только ветру и тишине».

МЕЛИХОВО — ГОДЫ ЖИЗНИ ЧЕХОВА

Подмосковные, скорее притульские, пенаты Антона Павловича Чехова — **Мелихово**. Дорога и не столь длинная, а выдалась трудною (дождь, грязь) — и туда, и обратно. Пробыл большую часть дня. Разночувствуемое впечатление. Грустно, бедно, поэтично... Пруды, деревянная церковь. Восстанавливаемая чеховская усадьба. Вспомнилось вдруг: «Если я врач, то мне нужны больницы и больные, а если я литератор, мне надо обязательно жить среди народа, а не на Малой Дмитриевке с мангусом...»

У СЕСТРЫ ЕСЕНИНА НА СТОЛИЧНОМ ПРОСПЕКТЕ

Сентябрьская встреча с Александрой Александровной Есениной (Ильиной) — сестрой поэта, живущей в **Москве**, на Комсомольском проспекте. Когда попросил по телефону о встрече, чтобы прочитать лирический очерк о поэте, она сказала сразу и просто: «Приходите». Дома — ее дочь и внук, весьма красивый по виду паренек, отдаленно, может, напоминающий поэта (странно было бы назвать Есенина — «дед»). Сказала: «У меня трое детей. Сын и две дочери. Сына уже нет», — и, резко оборвав, о семье не стала дальше продолжать. Поговорили с Александрой Александровной о разном, обычном на первом часе знакомства. Но когда коснулись родины, народной жизни, культуры и власти, почувствовалась сразу близость душевная и сердечная. Прочитал очерк, но ей понравился, но она сделала несколько замечаний, уводящих от бытовых неточностей. Еще посоветовала поменьше отдать строк Тынянову, рассуждающему о поэзии Есенина. Жестко, нелицеприятно отозвалась о Мариенгофе, Сосновском, еще нескольких друзьях-недрузьях, о памятнике Есенину на Рязанском проспекте с зачем-то выбитыми на плите строками из «Черного человека».

«Слышал, что вся тяжесть создания музея в Константинове легла на ваши плечи?» — «И вправду, в Константинове, а не в Москве, главная моя жизнь. Трудно было сначала. Но и радостно. Создание началось по весне 1965 года. Дом (не на-

шей семьей) был внутри оштукатурен, пришлось штукатурку снимать. И потолок пришлось разбирать, строгать прокопченные доски (в доме десять лет обреталась библиотека). Что осталось от старого семейного дома? Наличник у крыльца да дверь, ведущая в большую комнату. При пожаре успели выхватить из пламени икону Казанской Божией Матери; когда мама выходила замуж, ее благословляли этой иконой. А что до усадьбы — не было нынешнего сада, был картофельный огород, по границе обсаженный вишнями. Правда, в двадцать втором отец посадил десятку яблонь, выжила лишь одна. А ныне целое зеленое поместье, а не крестьянское подворье».

Всегда ли, даже до войны, верила, что имя брата снова взойдет? Именно верила, а не надеялась. Порокой тому было, что и имена Блока, Тютчева, Фета нечасто звучали. И даже Достоевский — мелким петитом в школьных учебниках и вузовских программах. Но эти имена — как провода, несущие свет нашей духовности и культуры, свет русского слова. Нельзя бесконечно держать провода обрезанными.

Сестра поэта благодарит всех, чьими трудами имя и строка Есенина нарастающее-победно идут по всему миру, она также часто вместе с верным, настойчивым пропагандистом творчества поэта Юрием Львовичем Прокушевым и его женой-певицей выступает в разных городах и весях страны, неся слово памяти о жизни и творчестве родного брата, истинно народного поэта России.

ОБЕД В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЛИТЕРАТОРА (ЦДЛ)

В ЦДЛ я бывал не раз. Впечатление суетного, избраннически-закрытого, разнопестрого салона, отгороженного от простого столичного люда; некий продолжающийся отдыхающе-выпивающий МОССОЛИТ, так верно увиденный автором «Мастера и Маргариты». Но Иван Иванович Акулов приглашал на встречу с Федором Александровичем Абрамовым именно туда, и отказаться было нехорошо, да и славно было бы встретиться с новомировским автором, печальником за судьбы русской деревни, знаменитым своей повестью «Вокруг да около», тетралогией «Братья и сестры».

За столиком — Федор Абрамов, Борис Можаяев, Иван Акулов, Василий Росляков и автор этих строк. Беседа от пустячно-застольной до серьезной. Можаяев, ко его повесть «Живой» («Из жизни Федора Кузькина») в «Новом мире» опубликовал Твардовский, а сценическое воплощение дал театр на Таганке, — ум резкий и ироничный, перемежал разговор деревенскими рязанскими частушками, подчас — весьма разухабистыми; «Впереди широко поле, — / Позади дремучий лес...», а за этими спокойными, природо-описательными строками — самая соль частушки: не отнять — хлесткая, остроумная, но малоозабоченная приличием. Концевыми двустигмией подобных частушек Можаяев от души потешал Абрамова, уже подвыпившего, а по виду несколько недоверчивого, колюче выжидающего, с темными глазами, цыганисто-черноволосого; он смеялся, просил прочитать еще и понравившееся записывал в крохотный блокнот.

С Абрамовым я прежде не встречался, хотя и знаком с ним заглазно через его жену Людмилу Владимировну Крутикову-Абрамову, которая по моей просьбе готовила составление и вступительную статью к сборнику бунинских произведений в серии «Отчий край». Здесь мы познакомились, и он сказал, что «Людмила Владимировна крепко вас хвалила», и пригласил в гости не только в город на Неве, но и на малую родину — в деревню Веркола на северной Пинеге. Разговор шел в основном шутливо-застольный. На можаяевский тост: «За Федора Александровича, который за последнее время совершил две вещи, одинаково сильно воздействующие на наши сердца и в сущности равнозначные: написал роман “Дом” и приехал

к нам в гости — в Москву; впрочем, последнее даже важнее, с чем его и поздравляем». Абрамов ответил кратко: «Выпьем за здоровье отличных писателей Рослякова и Можаяева!» — «Не мог по отдельности! — смеясь, сказал Можаяев и добавил: — Не знаю, как это Федор Александрович так сильно Акулова хвалит: он успеха другим не прощает. Большой не терпит вокруг себя больших. Почему только у него бороды нет?! Нет, правда, и у Рослякова. Так он степняк, ногайская степь, зачем ему борода?..» Росляков, крупный, мужиковатый, с красноватыми глазами, улыбался, отшучивался. Разговор перекидывался с события на событие, с одного писательского имени на другое. Можаяев — о Симонове: «Это же надо придумать такое: “На заре комбат перестал жить”». Федор Абрамов вызвал оживление: «Никакой симоновской зари не было. И комбата не было». Будь тон сказанного обиден и желчен, я бы, пожалуй, вступился в разговор. Симонов не из моих любимых поэтов, но его «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» с детства трогало меня до слез, а приведенная Можаяевым фраза: «На заре комбат перестал жить» прямо восходит к платоновской стилистике, так что тут ироническое замечание невольно адресовалось и моему земляку, рассказ которого — «Возвращение» — и был напечатан Симоновым, когда он после войны возглавлял «Новый мир».

Общий разговор стал дробиться, мы сидели с Можаяевым бок о бок, нас с ним «завернуло» на прозу о деревне. Вспомнил я о можаяевской статье в «Литературном обозрении», где он резко прошелся по страницам Евгения Ивановича Носова, в особенности по его «Луговой овсянице», где, может, и усматриваются ростки красиво-пейзанского, на что и обратил внимание Можаяев. Но слишком, на мой взгляд, резко. Почему? Можаяев поведал, как они вместе учились на высших литературных курсах: он, Астафьев и Носов. «Я уже печатался, — рассказывал Можаяев, — и помогал им. И пивали не раз вместе, и было вроде бы дружно. И Носов пописывал, но получалось все это — разлюли-малина, о чем я и пенял ему, мол, ты деревни не знаешь, приезжаешь туда в командировку да удить рыбу; не знаешь, как мужик колесо смывает, как коня впрягает... Резко ему выговаривал, а он с обидой: “Хорошо тому, кто часто печатается. А я в год — по рассказу”. А после его повести крепко разругались: ведь у него крестьянский труд — так, прогулка, цветики. А когда Василий Иванович Белов написал настоящее — “Кануны”, Носов отозвался на них недоброй рецензией, как, впрочем, и на акуловского “Касьяна Остудного”. Вот и появилась моя статья в “Литобозрении”. И тут же у Носова выплыл защитник в образе Троепольского-лауреата, который излил свою обиду-защиту в “Литературной России”. Я написал и лауреату, и в еженедельник, но ответ не был опубликован. Ничего, сказал при встрече с Троепольским, правдивому слову не впервой перегородушки ставят, а время сметает... даже плотины сметает. Я не тороплюсь».

Есть в Можаяеве та мощь, напористость, корневая сила-уверенность, без которой «Живого» бы не написать, как, разумеется, и «Мужиков и баб» — романа-хроники о трагических судьбах деревенского мира, когда в тридцатые переломные у крестьянина отнимались не только земля и конь, но и вера-церковь, и память.

Есть же, может быть, в резком отношении к Носову и Троепольскому он перегибает? Трудно сказать, не зная всего. У меня к Евгению Ивановичу ровное, уважительное отношение (правда, его прежде мне нравившаяся «Шумит луговая овсяница» при повторном чтении убавила свое обаяние: показалась выписанно акварельной, венециановски красивой и праздничной, не дающей подлинного представления о крестьянской страде; знаю, что и сам автор не считает ее своей удачей); столь же ровное, уважительное отношение и к Гавриилу Николаевичу Троепольскому. Разумеется, не потому, что оба они благожелательно отзывались о моих

стрианицах; главное — у нас много общего, «почвенного» во взглядах на крестьянский мир, народную жизнь; да и как члены редколлегии мною задуманного и реализуемого «Отчего края» они мне — единомышленники в начинаниях и воплощениях основного корпуса литературной серии.

К нашему столу присоседился да так и остался сидеть, разговаривая все больше с Росляковым, публицист, мне известный еще по семинару очеркистов в Переделкине в 1971 году. Тогда (может, пристрастное впечатление) он показался любителем прихвастнуть, не без высокомерных ноток и вместе с тем каким-то жалковатым. Сейчас в нем, постаревшем, последнее явственно видишь. Один из многих: книги, пресса, имя, а... Когда смыкаются круги — словно занавес опускается и куда деваются хлопавшие в ладоши? Но вот шумим, братцы, шумим — «про-талкивают» друг друга на верхи, трубят о самих себе так, будто без них литературе да и всей культуре враз увянуть...

Олег Михайлов — писатель и критик, специалист по русскому литературному зарубежью, один из тех, кто «возвратил» на родину бунинское слово. Встречались мы с ним и прежде — и в ЦДЛ, и на дому. Договоренность с ним (его как человека пробивного, со связями посоветовали Акулов и Гусев) о написании вступительной статьи к сборнику замятинских произведений в серии «Отчий край»: Замятин у нас после отъезда в тридцатом за границу не издавался и был опален. Олег Михайлов — внешне симпатичен, высокий, длиннокудрый, эдакий раннеславянский Лель в очках, открыт по взгляду, порывист, находчив и, можно думать, смел; он автор «Верности...», а такое запоминают и друзья, и недруги. Когда наш стол, недалекий от него, слишком расходился, накалился, он легко и быстро подошел к нам и шуточно предупредил: «И тогда образуется критическая масса, которая, как известно, взрывается...»

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР, 25, КВАРТИРА 27

Тесен мир московский. На другой день я был у Марии Александровны Платоновой, вдовы нашего неповторимого писателя, исполненного боли и совести, и в разговоре всплыл Кривицкий. «Спасал, говорят? Да он, напротив, губил. Во всяком случае, ему нисколько не жаль было Платонова. Они с Ортенбергом, редактором «Красной звезды», послали его в часть, которой там не оказалось, на передовую, в гиблое место, в болота, и он там подхватил чахотку. И ордена у него не было. Почему? Да наградные листы приходили на утверждение в «Красную звезду», и те двое, или сколько их там, фамилию Платонова вычеркивали. Этот Кривицкий ни разу не пришел, когда моего мужа не стало, хотя после войны в праздники вдов военных корреспондентов принято было навещать. Это сейчас они — роем вокруг имени Андрея. А тогда заявлялись разве так, как Игорь Сац. Стучал в окно, в кармане бутылка. Знал, что Андрей тяжело болен, а всякий раз — с бутылкой. Платонов жаловался, мол, почему меня не убило тогда в болотах?» (Я уже не раз бывал у Марии Александровны, и всякий раз она — об этом; и, наверное, не все так, как она думает. Ибо если все так, то — низость. Не хочется в это верить.)

Разберись в чужой правде-неправде, когда в родных нет родственной чуткости. Был вечерний час четырнадцатого апреля 1979 года, нас четверо: Мария Александровна, дочь Маша, брат писателя Петр Платонович Климентов и я. Сухое вино. Книжки, вещи, помнящие автора «Ямской слободы», все располагало к разговору о писателе. Но его брат слова никому не давал вымолвить, и все жаловался, что он, лучший в стране гидролог, автор лучших учебников по гидрологии, профессор,

главный консультант у геологов-разведчиков, недостаточно ценим: получает всего сто двадцать рублей, хотя министр так и сказал: «Вы, Петр Платонович, ведущий в стране гидролог», и скоро у него семидесятипятилетие, и он, конечно, достоин больших чествований, а как будет — не знает. Все мы терпеливо выслушивали Петра Платоновича, который о брате и словечка не вымолвил, и только о себе, о себе, о себе... Один лишь раз прервал свой монолог, обратясь ко мне: «Как там в Воронеже? Тюрьма сохранилась? Мы с Андреем неподалеку возрастали, в пыльной Ямской...»

У ЗЕМЛЯКА ВЛАДИМИРА ГУСЕВА

С Володей Гусевым встретились у него дома поутру. После вчерашнего нечаянного застолья был он в покаянно-угнетенном состоянии. Сокрушался, что наговорил вчера много лишнего: редактору почтенного филологического журнала сильно попенял, что тот журнал неизвестно для чего существует, а известному писателю еще резче попенял, что тот неизвестно для чего пишет.

Открыли бутылку сухого вина, но пить не стали, хорошо зная, как даже легкие вина делают тяжелыми целые дни, в пустых сидениях, говорениях, похождениях отнимая их у человека и народа.

В это утро он более чем пессимистичен. Вдруг заговорил, что мы осажденная крепость, да еще в двойном кольце — внешнем и внутреннем, где так вольготно чувствуют себя ненавистники государства, России, ее жертвенных тяготений к правде и справедливости. «Гибнут империи, государства, а им что? Всегда уедут, где лучше. Обогащайтесь, играйте и обыгрывайте жизнь. Это у нас — иное. В нас — века христианства. Нам стыдно. И мы будто кому-то должны. Этот “Алмазный венец” — куда еще красноречивее! Показательная сценка, в которой Катаев вскрывает психологию “избранных”: в послереволюционном городе Харькове они с Олешей пинают ногами спасшего их от голодной смерти, пинают после того, как он стал им не нужен. Не алмаз, а в прошедшее кинутый камень. Пляска на костях мертвых».

(— «Уже написан Вертер» с приговорными страницами революционным палачам в кожанках, с наганами в руках, и автор — Катаев, — можно было бы возразить через год.)

Знарок и защитник русской классической литературы, мой земляк вспомнил и «Метрополь» — альманах, в коем, по его слову, заявили громкоизвестные имена, которые, по главнोजизненному и главнохудожественному, ничего не могут дать, и малоизвестные имена, с которых нечего взять. Тенденциозность, пустота, эпатаж... Пристрастно вывернутое, псевдофилософское, якобы художественно смелое, вроде «реки, менструально разбухшей...» А сколько шум-шумихи! Шестьдесят крупных западных изданий — шестьдесят орудий, нацеленных на большие танки (зарубежные благодетели альманаха, видимо, надеялись, что выступят главные советские газеты), выстрелили... по зайцу, то есть немедленно, как только в «Московском литераторе», с тиражом менее тысячи, появился фельетон про «Метрополь». В те дни мой земляк, на частном обозревая общее, отмечая значение слов и смыслов, воплощенных в классике девятнадцатого века, писал: «Русская литература была всегда лично ответвенна, и это из нее не изъять. За это будет сражаться вся рабочая русская интеллигенция... Мы понимаем, что Родина есть Родина... Мы понимаем, что мы представители великого народа, суть которого, несмотря на все издержки бюрократии, невежества, грубости и дикости, — в нравственном величии, в терпении на благо человеческого целого. Мы не шовинисты, не националисты и не сектанты, — мы ведем себя от гуманистического и просветительского целого, о котором заботилась наша великая классика девятнадцатого века...»

Мне вспомнился наш разговор десятилетней давности в Воронеже, когда мы на

празднике Центрально-Черноземного книжного издательства за открытым и на тот раз распиваемым сухим вином, красным и белым, увлеченно беседовали о мировом искусстве, и один из нас высказал аксиому: «Неважно, кто творит искусство, лишь бы то было искусство». Разумеется, согласился другой из нас, только искусство искусству рознь. Есть искусство, которое воодушевляет, поднимает человека ввысь, а есть, которое художественной демонстрацией в человеке низменного, фрейдистского расчеловечивает человека и человечество. Тогда доказательные примеры как высокого, так и низкого искусства нашлись в избытке, но все-таки мой товарищ настаивал на искусстве как таковом, от жизни не зависящим. Теперь он — правой рукой первых христианских апостолов. Неужели чтобы прийти к этому, надо долгие лета обретаться в столичной литературной среде и вблизи видеть власть культуры и власть, распоряжающуюся культурой?

Вспомнил я и наше с Афанасьевым не столь давнее посещение дома Вадима Валерьяновича Кожинова, достойного уважительной благодарности не только за возвращение-«вызволение» из Саранска ученого Бахтина. Разговор от литературы и книжной серии «Отчий край», где Кожинову было предложено составить сборник фетовских произведений, до славянского мира и современного «русского» движения, один из духовных подвижников которой — Кожин. В беседе назывались имена Леонида Леонова, Георгия Свиридова, Юрия Бондарева, Бориса Стукалина, Владимира Солоухина, Василия Шукшина, Валерия Ганичева, Петра Палиевского, Олега Михайлова, Саввы Ямщикова, Василия Белова, Валентина Распутина... И: «Давайте в молчании вспомним послевоенную “Русскую партию”, пусть она так и не называлась». Основа той партии — в городе на Неве, с трагическими фамилиями взятых по «Ленинградскому делу» Вознесенского, Кузнецова, Родионова, Капустина, Вербицкого, молодого Косыгина. Тогда многие были расстреляны бериевскими палачами, а невесть сколько подверглись репрессиям.

У ВАЛЕРИИ ДМИТРИЕВНЫ ПРИШВИНОЙ

На пришвинской, ставшей мне близкой квартире в Малом Лаврушинском переулке говорили более всего о Пришвине неопубликованном. Его сборник в серии «Отчий край», где даются ранее не публиковавшиеся тексты и снимки, сделанные рукой писателя, Валерии Дмитриевне понравился. (Сборник, правда, вышел несколько иным, чем был задуман и подготовлен: его в кабинете первого издательского лица усекли на целых два листа, — когда я с несколькими издателями-товарищами был «мобилизован» на помощь селу: на уборку свеклы. Возвратясь, возмущенный и разгневанный, пренебрегая всякой почтительностью к служебной лестнице, я крайне резко объяснился с директором, но это ничего не могло изменить: сборник уже печатался. Позвонил Валерии Дмитриевне, продолжая возмущаться беспорядочным усекновением, но старая мудрая женщина успокоила неожиданными словами: «Мальчик мой! Вас еще столько в этой жизни будут усекать, творить недоброе за вашими глазами и за вашей спиной! Так что эти отсеченные два листа — что карандашный прочерк на белой бумаге. Жизнь разная, бывает и жестокая, да Бог милостив. Радуйтесь вышедшему сборнику!»)

Валерия Дмитриевна дала прочитать «Мирскую чашу». Несколько строк записал. «Раба со святой душой моя родина. Кончили чем? Чтоб нет никого и никаких». «Стройтесь по линии все голые и вновь начинайте свой бег». «Россия была как пустыня с оазисом, срубили оазис, источники иссякли, и пустыня стала непоправимой».

Меня, уходящего, Валерия Дмитриевна перекрестила и сказала на прощание: «Любите наш народ и Родину — это и есть ваше призвание и дело на земле. Вы слишком доверчивы — не стоит так. В мире есть всякое. А вы любите!»

Мне стал дорог даже сам маршрут приезда в ее дом: ветка метро от центра столицы до Университета, изготовленный в Воронеже «Метромост» с видом на Москву-реку, выход на Ломоносовский проспект, державный взлет Московского университета, сквер с памятником Ганди, большое светоплиточное здание китайского посольства, иные посольства, гостиница «Литва», «Мосфильм»...

Евгения Андреевна — удивительная доброприветливость, искреннее радушие, гостеприимство, желание поделиться всем, что знает об отце — великом военном мыслителе, человеке, наделенном разнообразными научными и художественными талантами, моем земляке, рожденном в донской слободе, соседней с моим селом.

На этот раз от отца-математика разговор перекинулся на институт математики имени Стеклова: институт, где плохо понимают тех, у кого ум переимчивый, компилятивный, вторичный, выборочно популяризаторский, способный подхватить, прошуметь, ударить во все барабаны.

Хорошо, с тихим восхищением рассказывала о знакомом ей выдающемся математике двадцатого века Игоре Ростиславовиче Шафаревиче, который преподавал на том же, что и она, факультете Московского университета. Всплывали «математические» имена: Галуа, Лоренц, Лобачевский, Чебышев, Пуанкаре, Эйнштейн.

И вдруг разговор перешел на тихий Дон — сначала реку, а затем и книгу. Великую книгу, которая то ли являлась помехой многим? Евгения Андреевна с мягким недоумением отозвалась о выпаде Александра Исаевича Солженицына — это неубедительное предисловие к «Стремени “Тихого Дона”», это легко опровергаемое сомнение в подлинности шолоховского авторства.

ПАВЛОВСКИЕ ГРАНИТЫ

Три начальных июньских дня 1980 года — городок **Павловск** и слобода **Босовка**. В нескольких верстах на юг от городка — «Павловскгранит», трехсотгектарный гранитный карьер. Более трех с половиной километров в длину, почти километр в ширину. Начало карьеру положено в 1969 году. Полтора миллиарда лет здешним краснозернистым гранитам, что от них останется через столетие?

Впервые про Камень-Буил — краснозернистый гранитный колосс на Дону в нескольких верстах ниже Павловска — я услышал в райгородке в пионерском лагере. Узнал: он существовал миллионы лет, а взорван, разрушен был в тридцатые годы — тогда, когда рушился и весь долгий уклад русской крестьянской жизни. Узнал и о том, что постаментным подножием памятника, возведенного Петру-самодержцу в Воронеже во второй половине девятнадцатого века, стала краснозернистая гранитная глыба, доставленная из Павловского уезда.

Тогда еще не было Павловского гранитного карьера. Треть века спустя после моей первой поездки в Павловск я этот гранитный карьер, этот «котлован» увидел. Впечатление?.. Гранит — «граду и миру». На парадные облицовки, на траурные могильные плиты, на пьедесталы, на памятники. И — на щебень... Мы живем в домах из железобетонных плит, в которых — павловский гранитный щебень. И он же уложен в дороги, которые мчат нас во все концы.

Босовка — напротив Павловска. Родина моего товарища-друга, издательского художника Леонида Корюкова. Исходили с ним улицы и окрестности. Хорошее, зеленое, с остовом брошенной церкви село (изначально — слобода), придонскими кручами, протекающим внизу Стародоньем и островом меж старым и новым руслами Дона, напоминающее мой родной Нижний Карабут; только он по яру выходит к реке, а Босовка лежит на косогоре и под кручами вдоль донского берега.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ ПЕЧАТИ СССР

Летняя 1980 года встреча с Борисом Ивановичем Стукалиным, когда-то редактором воронежских «Молодого коммунара» и «Коммуны», а ныне Председателем союзного Комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, иначе — министром печати СССР. Пробыл у него более часа. Разговор — о Воронеже, о воронежцах, о поэте Кубаневе, рано умершем друге Стукалина. О Шолохове, о выделении литературного секретаря Леонову. «Он пишет роман (*речь о будущей «Пирамиде»*). Может, роман скоро и не выйдет, но пусть Леонов скажет все, что его тревожит».

В ГОСТЯХ У РОДНЫХ ПОЭТА КУБАНЕВА

Летний августовский **Тамбов**. В гостях у Кубаневых — матери и сестры поэта. После страшной войны, в которой миллионы матерей лишились своих сыновей, смерть, гибель отдельного человека, пусть и многообещающей личности, не так печалит, мучает, сминает, как бывало в юности, когда падал в загородние травы, заходясь в тоске о тех миллионах погибших. Но и здесь, когда речь идет об одном человеке, понимаешь мать скорбящую (тут вспомнишь и мать поэта Бориса Корнилова, и мать Андрея Платонова... и забирает скорбь по недоплощенному дару). Юный Вася Кубанев — «комсомольский поэт», как то ли поощрительно, то ли уничижительно отзывается о нем творческая «элита». Разве похож Кубанев на Безыменского, Жарова, Алтаузена и иных околмолодежных, околкомсомольских трубадуров, поверхностно видевших происходящее? (*Поэт Константин Симонов, прочитав кубаневский сборник, писал министру печати Борису Стукалину: «Когда читаешь эту книгу Кубанева, несколько раз — хочешь не хочешь, а возвращаешься к мысли, что вот ты сейчас старый человек, довольно известный писатель, написавший много книг, прочитанных, в общем-то, миллионами людей, — вот перед тобой книжка человека, жизнь которого оборвалась на двадцать первом году и который, исходя из твоего собственного сегодняшнего ощущения, обладал в юности большими задатками, чем ты...*

И вот, прикинув все, с горечью думаешь, что смерть на двадцать первом году утащила из литературы человека, который, будь он жив, был бы способен сделать в этой литературе и больше, чем сам сделал, и больше, чем сделали многие другие, дожившие до твоего возраста писатели. Горькое чувство, заставляющее задним числом с особой остротой воспринимать именно такие вот давние и безвременные потери.

Наверное, мысли мои сходны с теми мыслями, которые у многих русских литераторов и поэтов были когда-то в девятнадцатом веке о Веневитинове...»)

Квартира Кубаневых — двухкомнатная хрущевка, обстановка скромная. Проговорили с Марьей Михайловной, сестрой поэта, до полуночи — и о ее вдохновенном брате, и о нынешних, часто «теплохладных» и воображаемо дерзновенных стихотворцах, и о временах, поэтов рождающих или убивающих.

(А в Воронеже — не со вчера устные и письменные мои ходатайства о призыве к имени Василия Кубанева Воронежской областной юношеской библиотеке, о кубаневских чтениях и уроках.)

Поездка в **Кантемировку**. Райцентр — большая слобода на юге Воронежской области. Речушка Богучаровка, церковь, железнодорожная станция, откуда крестьян увозили на Соловки. Мой родственник — начальник районного народного контроля. Рассказывает: разыскивается машинка, на которой печатаются опасные тексты. Чем опасные и для кого опасные? Машинку, скорее всего, найдут, но разве можно удержать иные, чем официальные, мысли?! Не первый век они прорывают плотины.

Фамилия моей мамы — Кантемирова. Есть ли какая связь с названием слободы — не знаю, но само название слободы в своем истоке давно мне известное. Когда-то эти земли были пожалованы Петром Первым молдавскому господарю Кантемиру, и их наследником отец хотел видеть младшего сына — будущего поэта-сатирика и дипломата, но не сложилось...

До позднего вечера бродили мы с Петром Чалым (здесь своим: собкором «Коммуны» по южному кусту области) улочками Кантемировки, берегом Богучаровки, выходили за околицу. Хороши были достопримечательности слободы и окрестной природы; не столь далеко — станция и слобода Журавка, из глин которой охра поступала для покраски московских кремлевских стен. Вспоминали эпизоды мировых войн: кайзеровский отряд в конце Первой мировой войны пробился едва не до Кантемировки; советская танковая дивизия (действительно железная: восточное слово «темир» обозначает «железо») начальную свою славу на переломе Великой Отечественной войны добывала в заснеженных полях Кантемировки и Россоши и позже получила наименование Кантемировской, а ее именем была названа одна из станций столичного метро.

(Но мало кто из здешних знал, что в Кантемировке родился большой, трагической судьбы украинский поэт Евген Плужник, что сюда вскоре после февральского переворота передислоцируются из Киева части, из которых сторонники монархической власти попытаются создать Особую Южную армию — окажется она скорее опереточной, чем реальной. И конечно же, никто не мог предположить, что в конце века неподалеку от Кантемировки (по единому полю изначально единого восточнославянского народа) проляжет пограничная полоса меж Россией и Украиной, а позже южнее Кантемировки придется в изгиб увести железную дорогу только ли из опасений террористических проявлений на украинской территории?!)

В ГОСТЯХ У СЫНОВЕЙ ПИСАТЕЛЯ ОВЕЧКИНА

Путешествие по Средней Азии богато на впечатления, но одно из них особое — здесь удалось побывать в гостях у сыновей Валентина Владимировича Овечкина: старшего (по имени отца) Валентина и младшего Валерия. Крепкие, сильные, душевно честные люди — это чувствуется. Скромная обстановка, унаследованная от отца и, видимо, не тревожимая. Посетовал на себя, что не родных попросил составить сборник Овечкина в серии «Отчий край», хотя и автор вступительной статьи Игорь Дедков как составитель достаточно целно представил творчество писателя. Сыновья, правда, справедливо посожалели, что не вошла в сборник повесть «С фронтовым приветом»; изданная, рассказывают сыновья писателя, она подверглась нападкам ортодоксов из Киева; Овечкин даже обращался к Хрущеву, но тот не защитил повесть, а защитил Фадеев.

Овечкин — трагический образ, трагическое видел, пытался помочь делом и словом. На Кубани в двадцатые он был секретарем Кургинского райкома (станци Те-

миргоевской и Чернодосочной). Люди помирали, а хлеб слеживался на государственной ссыпке.

И тогда молодой парторг, то есть секретарь райкома, созвал на бюро председателей колхозов и сказал примерно следующее. Протокола не ведем. Люди умирают от голода. Предлагаю часть зерна взять из госсыпки. За это полагается расстрел. Но, может, нас поймут... Кто не согласен, может уйти, а дальше — промолчать или... пожаловаться верхам. Никто не ушел, все приняли на себя опасную коллективную ответственность, не последовало и анонимных писем-доносов.

(И когда позже и в стране, и на всех материках заговорили о голодоморе, да еще якобы прицельно-украинском, нам бы вспомнить, что если были его творцы Каганович и темные подкагановичи действительно безжалостными к народу, то был и Овечкин, имевший в сто крат меньшую власть, но пусть и малой толикой помогший голодающим.)

Здесь подумашь и о другом. Овечкин — писатель строгого факта и строгого слова — не излукавленного, не манерничавшего, не искусственно облегченного или утяжеленного, не артистически-нарцисстического, а оправданного жизнью и судьбой. Он видел сущее и пытался сказать о нем честно. «Писал бы... и не будучи писателем. Просто как человек, у которого есть голова, чтобы думать. Есть родина, о судьбе которой он заботится. Есть социализм, который является и личной целью его жизни. Есть дети, о судьбе которых тоже приходится думать». Здесь в нескольких строках наисущее — родина, общественное устройство, дети. На слове социализм — словно запинаясь. В замысле лучших умов — справедливое общественное устройство. А в действительности? Мне дали прочитать Шафаревича «Социализм как явление мировой истории». Читаешь — широкозахватно и убедительно: великий математический ум, неоспоримая логика, блестящая эрудиция. Но выходит, что социализм — несвобода, обобществление, попрание семьи и религии, утеснение личности? А социализм и справедливость?)

Сыновья рассказывают о том, что отец, с молодых лет с опасностью для жизни ратовавший за новое, советское, после хрущевского утверждения на партийном престоле многое не принимал в главном энтузиасте всяческих ускорений (построим коммунизм за двадцать лет?!). Не стал писать о Калиновке (сказал: «липа») — родном селе первого секретаря ЦК, где колхоз, прихорашиваемый и подкармливаемый, стал по сути неким развращающим уголком. Обсуждение статьи «Писатели и читатели» на Политбюро, и многие склонялись поддержать, но пересилил отрицательный рык Хрущева. Потом — некая А., некая злоприглядчивая особа — «последняя пушинка, переломившая горб верблюду». После поездок на целину и в Поморье, вызвавших у Овечкина тягостные чувства от увиденного (столько барабнящего и непродуманного, казенного и лживого!), он в 1961 году стрелялся из мелкокалиберки — прострелил надзглазье, чудом остался жив.

С 1963 года последние пять лет в Ташкенте — подальше и от злопыхающих, и от сочувствующих. Доживание. В повести «С фронтовым приветом» есть такие слова: «В новой жизни на освобожденной земле хотим мы видеть, после всех ужасов войны, много красоты и радости...»

«МОЛЧАНИЕ» И НЕ МОЛЧАНИЕ

1982 года март. «Молчание» — поистине многострадальное. Сокращенная еще до набора, рукопись дважды была читаема в обллите — цензурном ведомстве. Уже после подписания в печать обллит вновь, теперь на уровне начальническом, затеял повторное чтение. Начавшие было печатание моей книги ротационные машины «Коммуны» затихли. Это второе прочтение литом (случай

редчайший в издательской практике!) нанесло жестокий урон сборнику. Изъяты новеллы «О сестры, сестры», «Три дуба в Диканьке», изуродованы «Ветка красная, ветка белая», «Кролики в голубой клетке», «Собирать желуди», «Воронеж», «Отчий дом». Напрочь вычеркнуты строки о русской деревне — о послевоенном ее лихолетье, неженской тягловой страде женщин, о палочках на трудодень...

Александра Федоровна Жигульская считает, что такая вивисекция над моим «Молчанием» — в отместку за мое немолчание при назидательных встречах с цензурой, где я настойчиво возражал против бесцеремонных, далеких от государственных тайн придирок к моим текстам и текстам, мною редактируемым. Впрочем, все это досадное, но переживаемое — вспомнить только, что и страницы великих кромсались, а то и вовсе запрещались.

ЖАЛОБЩИКИ-ЛИТЕРАТОРЫ

Апрельские жалобы на «Отчий край», дескать, вся книжная серия — гимн патриархальности, консервативности, православности, даже монархичности, а основатель-редактор ее — явный отщепенец, отвязанец от магистрального партийного пути. Двуголосый донос, нечто в духе полосной статьи десятилетней давности — «Против антиисторизма». Охота им бегать (или резво, «зело борзо» подниматься на верхние этажи высоких инстанций), чтобы наперебой заявлять, что у их коллеги — не общие, не прогрессивные, не такие, как у них взгляды и поступки. И кто же эти избалованные крамолы? Оба — из лелеемых, поощряемых партвластью, впрочем — любой властью. Один — председатель нашей писательской организации, другой — почтенный кандидат филологических наук; я однажды присутствовал на лекции последнего — повторяемая мысль, внедренная еще революционными предбольшевиками, далее большевиками и прозападниками-либералами из тех, кому мало участия до трагической судьбы Отечества: царская Россия — тюрьма народов, и все-то в ней во все века плохо. Так твоя родина — тюрьма народов или все же семья народов? У председателя писательской организации причина, думаю, более банальная: в «Отчем крае» не был утверждён с его вступительной статьёй сборник писателя с Белгородщины. Но еще на первом этапе настоянием большого писательско-издательского совета были отведены и более значительные имена: Хомяков, Ростопчина, Стравов, Суворин, Воронский...

А давно ли мы были вместе? Или поверхностно, фрондерски — вместе? Трещинка пролегла не когда я редактировал составленный Ласунским, Анчиполовским, Пашневым трудно шедший через цензуру и обком краеведческий сборник «Собеседник» (тогда, по выходе сборника в свет, они благодарно подписали на первом экземпляре: «Нашему редактору — нашему другу...»), а скорее всего, когда исподволь и позже стало проявляться в них холодноватое, равнодушное, отстраненное отношение к тому, что являет собою исторический — да, тяжелый, подчас жестокий, подчас давящий, в изломах и выбоинах путь — путь русского народа, в лучших своих мыслях, сердечных порывах, душевных проявлениях, в лучших своих именах чаявшего и чающего справедливости, высшей правды, горнего Иерусалима. Но и позже мы вместе отстаивали грубо потревоженные или искаженные явления местной и отечественной культуры (усадебный мир, увековечение памяти Бунина, Платонова), и я, разойдясь с ними, не забываю быть им благодарным за способность подать руку поддержки вопреки идеологическим спорам и предпочтениям. Надеюсь, нет у них этого: «Как сладостно Отчизну ненавидеть...»

1982 года апрель — **Москва**. Госкомиздат. «Детская книга». «Малыш».

На проспекте Вернадского — в гостях у Ивана Ивановича Акулова. В доме все тот же мир, добронравие и доброприветие; обаятельная Галина Григорьевна — помощница Ивану Ивановичу во всем (последний его роман «Ошибись, милуя» — о революции 1905 года и столыпинской попытке утихомирить революционно-бродильные силы и направить Россию по пути созидательных и обогащающих преобразований — она перепечатывала на машинке четырежды); и конечно же, душевное, духовное сродство. Иван Иванович все тот же — смел, ироничен, с живым блеском глаз, когда шутливо прохаживается насчет орды, толпящейся в очереди по второму-третьему разу за всякого рода большими и малыми премиями. Забавное, скорее грустное — про столыпинские литературные нравы и фамилии.

Можаяев отнес рассказ Акулова в «Огонек». Рассказ был одобрен и набран, надо было уточнить кое-какие слова, для чего Иван Иванович был приглашен в редакцию. Его встретил редактор отдела прозы, некто вертлявый, и начал: «У вас слова здесь какие-то непонятные, заменить бы...» Автор вспыхнул: «Слова все русские, и я ни одним не поступлюсь. Рассказ не должен страдать от вашего невежества». Уязвленный сотрудник нажаловался «вверх по лестнице», и рассказ был снят. «Ну и что ж, я не жалею, — оценил происшедшее Иван Иванович, — журнал так себе, но и будь он хорошим-расхорошим — что из того? Совет писателя выше любого журнала. Я и Виктору Астафьеву не раз говорил: “Что ты размениваешься на все эти газетные абзацы, колонки, пусть даже полосы? Как бы тебя журналисты не нахваливали или, наоборот, не заругивали, что от всей этой словесной беготни останется? Иное дело — память человеческая. Уйдем, а нас, глядишь, кто-либо и прочитает”». Иван Иванович, когда заходит речь о нынешних литераторах, бывает резок, насмешлив, афористически точен. «Писатель средней руки пишет и в окно поглядывает, как бы кто зашел да прекратил его писание, пригласив туда, где водку водкой закусывают»; «Стихотворец руками размахивает, про добро вещает, а у самого злобной скверны на целый батальон»; и более существенное: «Писать надо честно и раскованно. Заковать тебя всегда закуют». «Если я и пишу неплохо, то только благодаря тому, что не читаю литературных газет».

Беседа о детях. О детской литературе, об авторах революционной тематики. «Все они до сих пор скачут с красными клинками по стране, взбаламучивая красную пену и грязь. Сталкивая лбами погибших и живых. А пора бы чистыми промытыми глазами взглянуть на наше трагическое прошлое. А язык-то, язык-то у всех этих “литературных комиссаров” — как жестяная стружка. “Крещение”? Дорогая для меня книга. Да только малая правда в нем. Война... Иные думают, что это поднять над головами наступавших знамя и пройти с ним до Берлина. А шли — по костям. Да и в Германии, в Восточной Пруссии наши brave солдатушки поначалу предельными мстителями себя выказали. Не церемонились ни с людьми, ни с вещами. Солдаты из соседнего полка тащат из какого-то герцогского замка пианино белое, клавиши — слоновая кость. Они его — “бах!” с третьего этажа. Да это, скажут, частности. Или особенности — особая статья. Тем нельзя было на передовую. Объясняли: кто врагов внутренних будет отлавливать? А кто в окопах родину будет защищать? За родину никому не грех погибнуть, даже особистам».

На второй день — в гостях у Семена Михайловича Борзунова, разговор о будущей его книге «Война у родного порога» («У родного порога»). Моя редакторская правка принята им полностью. Человек он милый, не излукавленный московским журнально-книжно-издательским бегом. Писатель он — более журналисте-

кого плана. Это еще от войны, когда ему, фронтовому корреспонденту, часто приходилось бывать на передовой и срочно, не забываясь о корреспондах стиля, готовить материал в номер.

В послеобеденной половине дня — в гостях у Олега Михайлова. Разговор о Бунине, Шмелеве, Замятине, Зайцеве, Адамовиче. Хозяин квартиры с готовностью дал познакомиться с адресованными к нему письмами Зайцева — много в них интересного, важного, пронизательного. Орловский уроженец решительно пишет о том, что у Бунина ничтожно мало чувства сострадания, чувства греха перед своим народом, о том, что у Толстого эти чувства полнее, о том, что в Набокове явственен дух распада и тления, чем он так любезен избранныкам либерального художественного круга.

Тут знатоку русского литературного зарубежья вдруг (по контрасту, что ли) вспомнился и «разъезжающий по зарубежью теперь мало кому интересный Евтушенко». И далее — не буквально, по смыслу следующее: Бунин, Шмелев, Зайцев и в западном мире оставались русскими, а коммивояжеры, подобные автору «Братской ГЭС», и в России бредят Западом. Да и как иначе — больно вертлявый типаж: может, например, поступить и по-доброму, но до известной степени, когда это ему нужно; а так во всем примерчивость, по расчету и ближнего переступит; снедает его не работа, а забота: когда-то шумел, шумел, вышел пар — не читают; он, как двулицевая монетка, всю жизнь переворачивается и так, и эдак. Не успел я сказать, что на короткое время тоже был захвачен и западными «свободами», и шумливыми поэтами-чтецами-декламаторами, в ряду которых и автор «Братской ГЭС», как Олег Михайлов заговорил о Юрии Бондареве, о котором он написал книгу и творческая встреча с которым на Центральном телевидении ожидалась вечером. «Юрий Васильевич Бондарев — хороший писатель, хотя... Иван Иванович Акулов верно подметил, что он, русский человек, жизни русской глубоко не знает. Пишет, «очарованный приманчивой культурой мира». Действительно, мало знает. У него высокая романтика жизни».

Вечером — близкая к Кремлю гостиница «Россия». В номере — Евтушенко (воронежский), Борзунов и я. Легкий хмель. На экране — Бондарев, медленно, в некоем напряжении высказывающий мысли, они — о серьезном: о трех угрозах — ядерной, экологической и губительной для мировой культуры опасности «культурного империализма», то есть псевдокультуры, масс-культуры, из-за океана расплозающейся по всем странам и континентам.

Полдня — по рукописи Василия Михайловича Пескова «В гостях и дома». Воронежская цензура поостереглась дать добро на один из острых экологических очерков, надо было взять разрешение в Комитете гидрометеорологии и контроля природной среды СССР. Из «Комсомолки» достаточно долго добирались туда. Израэля (председателя) на месте не оказалось, но без затяжек дал разрешение, подписал его заместитель (управляющий кадрами) Артур Николаевич Чилингаров. Долгий разговор геологического, географического, экологического характера.

Коротко — в гостях у Жигулина. Болеет он. На пленум объединенных творческих союзов еле собрался, пошел после обеда, чтобы посмотреть Георгиевский зал (ночью написал стихи — ему перед этим приснился его дед, дающий ему поносить Георгиевский крест, — стихи о Георгиевском кресте и Георгиевском зале). Рассказывал о своем выступлении в ЦДЛ на вечере памяти Твардовского: «Раньше можно было взять свежий номер “Нового мира” и вычитать в нем слова: “Такой-то лауреат пишет плохо”. Правда, сказать так могут и сейчас, но сказанное никто не напечатает. А тогда был Твардовский».

Лето 1982 года. **Икорец**. Многое напоминает о юной медсестре, поэтичной, вдохновляющей — теперь подмосковной. Отдыхал с Михаилом Остапенко, братом Вани, когда-то в Россошанском педагогическом техникуме он учился вместе с поэтом Алексеем Прасоловым, рассказывал о нем — разное; сожалею, что я тогда мало слушал его: голова была занята задуманным романом «Возмездие и милосердие», или «Русская страда в веках», или окончательное — «Один день как тысяча лет». Впрочем, повествование, давно прочувствованное сердцем, отложившееся в сердце и голове, снова ушло куда-то вдаль, словно и не главное.

В один день вышли и тем же утром доставлены в санаторные газетные киоски «Коммуна» и «Молодой коммунар» с благожелательными рецензиями на мои книги — воронежское «Молчание» и московскую «Миронову гору». (По жизни, историко-философскому видению и творческому воплощению Миронова гора у впадения Черной Калитвы в Дон для меня столь же сущностный, корневой образ, географически реальный, как и сам Дон или Стародонье под кручами меж Духовым и Нижним Карабутом, как холмы, поля и леса моей малой родины.) На некоторый час ко мне выстроилась некая очередь, как за неким дефицит-товарищем. Масса поздравлений от знакомых и незнакомых, будто свершилось нечто значительное, будто у кого-то спас, кому-то помог. Заверяют — многим помог своими книгами. Да нет же: приблизительность текста огорчает.

ПОЕЗДКА С ЖИГУЛИНЫМ И КОРЮКОВЫМ В БЕЛОГОРЬЕ

Сентябрь 1982 года. Исполнение давнего с Анатолием Жигулиным замысла: побывать в наших родных донских краях. К нам присоединился Леонид Корюков, он по моей просьбе и договоренности с поэтом иллюстрировал сборник стихотворений Жигулина «Воронеж. Родина. Любовь», коего я был редактором.

Перед поездкой в Белогорье побывал в воронежском доме Жигулиных. Мать — добрая женщина, но старчески больная, согбенно-скрюченная, волочащая ноги. Грустно вспомнились московские строки Жигулина: «Приехала мать из Воронежа, / Из милой моей стороны. / И мысли притихли тревожные, / И вспомнились детские сны».

В страну нашего детства мы и устремились на двух машинах; Жигулин большую часть времени провел в моем новом «жигуленке». Отдыхал, полулежа в автокресле, рассказывал и о бывлой воронежской своей жизни, и нынешней — московской. Не могли не говорить о семейном. О стареющих наших матерях. Как и я за своих сыновей, глубоко беспокоился он за сына. Тревожная примета времени, в котором куда утягивает молодых, что их влечет, какие лжеценности приманивают: в шестнадцать лет ему, сыну Анатолия Владимировича, приобрели джинсы, он так радовался, так радовался, а когда выяснилось, что они не англо-американские, а итальянские, с югославской строчкой, сразу погас в своей радости. Разве это нас волновало в наши шестнадцать? И вот он, едва вступивший в совершеннолетие, вышивает. Куда это его утянет?

В Белогорье приехали ночью, а наутро весь день провели на сиротски-пустынных кручах, на пепелище былого монастыря. Спускались в пещеры, варили уху, вглядывались в родные с детства дали. Два стиха родились здесь у Жигулина — «Память» («Белогорье. Горы белые...», «На родине» («Не узнал я родного села...») — крепкие, грустные стихи.

«Бои» с воронежской цензурой, где дотошнее, придирчивей всех — заместитель начальника обллита, а по сути главный областной цензор Полина Иларионовна Палагина: для нее каждый редактор — неблагонадежный, в каждой подготовленной к печати рукописи — скрытый динамит. (Писатель Юрий Данилович Гончаров не раз и не без яда отзывался о ней, дескать, взять бы кусок хозяйственного мыла да отмыть ее от многолетней накипи... Я был более толерантен. Она ненавидела нас обоих.) Она была словно вне женщины — сугубая функция, и в спорах с нею, запрещавшей, часто вне здравого смысла, все цвета радуги, кроме официального, потеряно немало нервных клеток.

Долго она не подписывала в печать подарочное издание «Поле Куликово», которое по просьбе моей и издательского художественного редактора Светланы Ратмировой иллюстрировал Василий Павлович Криворучко, а на его картинах — преподобный Сергей Радонежский, освящающий на подвиг Дмитрия, еще не Донского, религиозные образы, хоругви, то есть неприемлемое ревностной атеисткой; и только третейский суд — верхний обкомовский этаж — признал мои доводы в защиту «Поля Куликова» более убедительными, нежели ее нападки, и разрешил печатание. Еще дольше не подписывала в печать и сборник Платонова в серии «Отчий край»: «Чего он тут про болота пишет, наши солдаты мокли в болотах?» — «Да, не на теплых перинах, не в теплых хоромах воевал он на войне». — «Все равно он гадкий человек. Он что, импотент? Его рассказ “Река Потудань” — полное половое бессилие. Так в жизни не бывает». Хотелось мне ответить порезче, мол, вас, наверное, обходят мужчины, но я здесь не стал уподобляться Юрию Даниловичу, только и сказал: «Какое у вас отчество хорошее, как у Кутузова. Давайте, Полина Иларионовна, не обижать вашего отца, Илариона».

Появление Палагиной в Центрально-Черноземном издательстве (март 1983 года) — как явление. По крайней мере — таковое в ее глазах. Обычно нас, редакторов, приглашают на шестой этаж обллита, а тут — сошествие к недостойным. Первые ее слова — словно карательная экспедиция в одном лице. Может, я бы просто промолчал или ушел, не дослушав однолинейных наставлений, но начала она именно с меня — с моей книги «Молчание», еще год назад вышедшей в свет. Дескать, больше всего идеологических ошибок у автора-редактора имярек. «Книга “Молчание” содержитательно, идейно рискованная, даже ущербная, в ней не видно наших достижений. Разве можно было допускать к печати главу “О сестры, сестры”, где автор говорит о судьбах советских женщин с такой безнадежностью, словно они живут при крепостном праве? А что за конец книги?!» — Зачитывает с листа: «Когда-то один западный писатель, наблюдая ритуал у парижской Триумфальной арки, где тоже могила Неизвестного солдата, тоже условно Вечный огонь, сказал, что “если бы Неизвестный солдат мог подняться, он бы, преисполненный отвращения к лицемерию, потушил язык пламени”». Не без пафоса воскликнула: «Разве не безыдейно, не антипартийно, не кощунственно?!» Именно это трехчастное обвинение писано было и в анонимке, адресованной в обком по выходу книги.

Я молча поднялся, вышел, взял в своем кабинете сохраненную, невыброшенную верстку, возвратился. И разразился длинной отповедью: «У вашего ведомства, не в пример, скажем, Комитету госбезопасности, открытые телефоны, их найдешь в любом телефонном справочнике. Но, к сожалению, не в пример Комитету госбезопасности, у вас несравненно больше запретительства (причем часто дурно-вкусового). Давайте взглянем на строки, шедшие за сокращенными: “Не дай мне ненужного слова! Не дай — неверного и суетного... Стою у Кремлевской стены, у могилы Неизвестного солдата, у Вечного огня, и боль моя — она со мной:

еще от той мины, что в детстве убила моего друга, от той пули, что сразила его отца, от тех двухсот слободских похоронок. Сколько выцветших мужских глаз вглядываются в наш мир с далеких довоенных, военных фотографий, сколько по великим российским пространствам, материнских, отцовских сыновних, дочерних глаз еще не высушило слез! Потому и эта бесконечная человеческая река — река боли и памяти». Этот текст сугубо лирико-публицистический, нарочито оголенный. Жестко обнажаются два пласта — пласт цитатного, может быть, бегло-суетного, и пласт трагической реальности, явление человеческой реки у Вечного огня. И что значат чьи бы то ни было слова, даже взятые у имени знаменитого, когда есть эта человеческая река памяти?!»

Вице-начальница цензуры сказала нечто примирительное, дескать, вот вам пришлось комментировать, а так бы народ не понял. И наткнулась на дружное несогласие: «Да все понятно здесь. И честно, и сердечно!»

Да, но анонимка-то была. И она некую каплю ненависти и грязи метнула в мою фамилию, образуя у кого-то, робкого или меня не знающего, или завистливого, предубеждение, пусть даже малое. И думаю, сколько же о каждом из нас, думающих и страдающих, изливают за нашими спинами недоброты, неправды, клеветы, сколь полощут имена каждого из нас, а когда-нибудь будут пританцовывать и на наших костях.

Вспоминал добрым словом старых по ведомству цензуры — Тютчев, Гончаров, Вяземский, может, и острогожский выходец Никитенко, который вовсе не во всем мне близок, но отдаю должное: был разумно-аккуратен в своей деятельности. Вспоминал, как и часто вспоминаю, слова Пушкина о необходимости цензуры в благоустроенном обществе, ибо последняя защищает честь государства и личную честь.

Цензурированная жизнь?

СЛОВО О ПАМЯТИ

Отчетно-выборное писательское собрание. И мои слова о памяти. Мысль: помнить не только больших писателей, но и литераторов скромных дарований; а еще — развивать в себе чувство всеисторической памяти как хранительницы и национальной, и мировой истории. Слово «память» наиболее часто употребляемое в моей речи и на моих страницах. Мое постоянное звание: помнить все, что было с нами, не с нами, до нас — даже на семь тысячелетий вглубь помнить! Не худо было бы и древнегреческий, древнеперсидский, древнеримский миры помнить, а что до старорусского — как же не почувствовать, не увидеть наших предков и на полях сеч, и на хлебных полях мира. А последняя война — не только наша великая победа, но великая река потерь. «Помнить, как отцов с войны встречали, — / Ждали всех... Да не дождались всех».

Возвращать потерянное и потерянных — через устное и печатное слово. Не разделять эпохами и режимами историю страны. Не разделять, а созидательное, страдное, творческое объединять. Обращаясь к библейскому: с нами Авель, но не Каин.

Избран в правление Воронежской писательской организации, и участок моей общественный работы — предсказуемый, понятный. Сродственный, как говаривал бродячий философ Григорий Сковорода. Это — продвижение в читательские аудитории уже вышедших книг, это и нравственное воспитание молодых через книги, встречи, школьные и студенческие уроки. И, разумеется, почтенная, но спорная обязанность — приобщение к городской, краевой, национальной памяти наших писателей, вечера памяти об ушедших писателях-воронежцах, какие мне поручено проводить.

В гостях у Анатолия Владимировича Жигулина. Долгая, во взаимопонимании и единодушии беседа, продолжающая прежние: долина, поэты девятнадцатого века и поэты современные, земляки с московской пропиской. Прозвучало имя Егора Исаева, штрих показательный: Жигулин и жена его, Ирина, были на приеме у председателя Союза писателей СССР Георгия Мокоеевича Маркова с ходатайством о выделении поэту дачи; были приглашены секретари Верченко и Исаев. «Вот Жигулин просит о даче в Переделкино...» Егор Александрович, по выражению Ирины, «аж запунцовел»; обычно находчивый и всегда готовый обо всем ораторствовать, здесь словно замешкался: не вдруг сказал: «Дача — хорошо... Но у меня у самого нет дачи!» — «Ну, он тебе дорогу не перейдет», — благодушно улынулся Марков... (Здесь в пору заметить, что роман Георгия Маркова «Строгость» был в позднем детстве одним из мною жадно прочитанных; наверное, притягивал колорит, мощные образы сибиряков.)

На прощание Жигулин вдруг сказал: «Не передавайте даримые вами книги через других. Меня когда-то поэт Анциферов попросил передать сборник стихов с дарственной надписью поэту Якушеву. Давно уже Анциферова нет, да и Якушева вот уже два года как нет в живых. А книга кого теперь ждет среди моих бумаг?»

СМЕРТЬ И БЕССМЕРТИЕ АВТОРА «ТИХОГО ДОНА»

Двадцать первого февраля — тяжелейшее: смерть Михаила Александровича Шолохова. Он мне близок и географически, природно, и художественно воплощенным чувством трагического, жертвенного пути нашего народа. Донские воды моего Нижнего Карабута принимает его Вешенская. Дон — его судьба. Дон — моя судьба.

«РАППОВЦЫ» НАШЕГО ВРЕМЕНИ

На что время расходуется? В октябре 1984 года дважды приходится выступать на комиссии партийного контроля обкома по поводу доносительски-критического письма и заявлений писателей Подобедова, Булавина, Пашнева, «обнаруживших» вредное, антипартийное, патриархальное, даже реакционное направление «Подъёма», — тот опубликовал страницы Скатова, Есенкова, Плеханова, Марченко о Кольцове, Гоголе, Писемском, нравах и именах Литинститута.

Смысл моего выступления — само доносительское письмо свидетельствует о современных рапповцах, энтузиастах агрессивной фразы, равнодушных к отечественной культуре и воспринимающих ее, как прежние вульгарно-революционные бдители — «Гоголь — рупор мистицизма, Салтыков — продукт царизма...» Ярлыки, к которым прибегают эпистолярные борцы за чистоту идей и имен, ни правды, ни добра, ни достоинства не несут. Меня полностью поддержали Абрамов, Акаткин, Лаппо — тоже члены нечаянной комиссии.

А через несколько дней — писательское собрание — все о том же. Снова пришлось втягиваться — и открывать прения, и завершать. Штрих: писатель Прудковский попенял Подобедову, мол, у нас, ныне старейших, были не только хорошие, но и позорные страницы, и хватит наших книг, дадим дорогу молодым и будем радоваться, их читая. Зал зааплодировал. А самый энергичный из подписантов прокричал: «Чему хлопаете? Человек расписывается в собственной творческой импотенции». Евсеенко сказал негромко, но услышанно: «Импотенты разные бывают: иные литераторы — с первых своих строк слабосильные, но шумливые и агрессивные».

Борцы обещали вновь писать в Полибюро.

В «Молодом коммунаре» — «Чувство родины»: со мной беседует Владимир Нохатский, нынешний редактор «Молодого коммунара», мой земляк-россошанец, человек разнообразно талантливый, щедросердечный, отзывчивый; может, на характере и душевном складе сказываются богатые дары родной земли (генетика, история, география придонского края).

ПЕРЕСТРОЙКА... ИЛИ НЕ ПО СЕНЬКЕ ШАПКА?

Апрель 1985 года. Новинка в стране — верховное омоложение: избранному генеральным секретарем Михаилу Сергеевичу Горбачеву нет и пятидесяти пяти лет. Первые полгода и я, и отец — из принимающих. Сопоставляя, что ли: больно удручали эти бесконечные вешания орденов на грудь членов Политбюро и замедленное, сказывают, от фронтовых ран трудноговорение Леонида Ильича Брежнева. Да и смерти (в очередь!) старых генсеков...

А в «новеньком», сравнительно молодом, болтовня и мелкость ума, слабость характера проявляются скоро. Как показатель грустной нечуткости к лучшему в Отечестве, к благородно-созидательной традиции, к природе — вырубка виноградников в Крыму, на Кубани, в Ставрополье под видами якобы борьбы с алкогольной пагубой. Обезвинограденный советский юг.

ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ АЛЕКСЕЕ ПРАСОЛОВЕ

Тридцатого октября (1985) — Юго-Западное кладбище, у могилы Алексея Прасолова, вдвоем с Раей Андреевой-Прасоловой.

Менее года назад в Воронеже вышло наиболее полное издание прасоловских произведений. В нем выявились погрешности и типографского, и корректорского характера, которые я, находясь в вынужденном отпуске, как редактор не смог предотвратить; но мысль об увековечении имени и творчества поэта-земляка во мне постоянная.

(Вскоре меня изберут председателем комиссии по литературному наследию Алексея Прасолова, выйдут десятки моих публикаций в союзной прессе, позже по моим ходатайствам на бывшем здании «Молодого коммунара» будет установлена мемориальная доска и одной из воронежских библиотек и районной библиотеке в Россоши будет присвоено имя Алексея Прасолова; рукопись «Одинокое сердце поэта» опубликуют «Воронежский курьер», столичный журнал «Роман-газета. 21 век», в едином футляре выйдут две книги — сборник прасоловских стихов и мое «Одинокое сердце поэта».)

«В ограде — чугунная плита надгробье... барбарис — острый, колючий, как образ-символ. Море сосны вокруг. Словно и сосна нездешняя, росошанская, в молодости им высаженная на росошанских песках, сошлась здесь в прощальном единении... на придонской, воронежской, русской земле...» — эпилогические строки из «Одинокое сердце поэта».)

РАССМОТРЕНИЕ В ГОСКОМИЗДАТЕ «ОТЧЕГО КРАЯ»

В Министерстве печати России, в Госкомиздате, в старинном особняке на улице Качалова, в центре Москвы, — рассмотрение моего опыта по воплощению в жизнь (идея, разработка проспекта, редактирование) книжной серии «Отчий край». Единодушное одобрение, высокая оценка, по-моему, даже с завышениями.

В скором времени — справка об опыте моей работы, направленная всем российским издательствам. После министерской справки (1983) об опыте подготовительной и редакторской работы именно по книжной серии, разосланной всем издательствам России, потянулись на мой адрес письма директоров, главных редакторов издательств: «Пришлите свое — напечатаем». (Предлагали дать предисловия к произведениям классиков, мои рассказы и повести, подборки стихотворений, но у меня ничего значительного в ту пору не было, а лишь бы напечататься — я уже был не в том возрасте.) Вскоре подобные серии стали издаваться по России. Мне предложено перебраться в столицу — на повышение. Отказался — то ли по «корневому» чувству, то ли нарочь пропала «охота к перемене мест».

За редакторско-издательские труды — бронзовая медаль ВДНХ, выдвижение и присвоение звания заслуженного работника культуры РСФСР, прежде в Воронеже «зажатого» из-за моих «идеологических колебаний».

Уже многое по «Отчему краю» вышло в свет. Начиная с 1980 года — Державин, Левитов, Овечкин, Гайдар, Кубанев, Лесков, Недетовский (Забытый), «Мятежная лира» (Раевский, Рылеев, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер), Платонов, Дмитриева, Марин и Милонов, Слепцов, Эртель, Кольцов, «Народные русские сказки», Веневитинов, Никитин, Сочинения Козьмы Пруткова. Да прежде увидели свет — Боратынский, Фет, Бунин и Пришвин. И на выходе — опальный у нас Замятин с его повестями и рассказами, Буслаев: «Русский богатырский эпос».

Иные книги — событие в литературной жизни, и не только местной. О них говорят и пишут. О значимости «Отчего края» свидетельствуют письменные, газетные, журнальные, книжные строки множества читателей, в том числе и известных деятелей культуры и литературы, сказанные в годы выпуска и позже. Вот первые из них:

В.В. Будакову, редактору патриотической серии «Отчий край», с благодарностью за хороший сборник платоновских произведений. *Маша и М. Платоновы. Москва, 1982, 22 октября.*

Когда бываешь в библиотеках многих городов РСФСР и знакомишься с формулярами читателей, видишь, сколь популярна и авторитетна серия «Отчий край», выпускаемая Центрально-Черноземным книжным издательством... Возглавляет эту ответственную творческую работу писатель, литературовед и публицист В.Будаков. *«Известия», 1983, 19 февраля.*

В Центрально-Черноземном книжном издательстве выходит серия «Отчий край»... Воронежцам, в частности редактору художественной литературы В. Будакову, принадлежит идея подобного издания. Затем примеру Центрального Черноземья последовали в Туле, Архангельске, Иркутске, Уфе. *«Советская культура», 1983, 3 сентября.*

ТЕЧЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

В эти же годы (1980–1985) подготовленное, отредактированное: «Поле Куликово», «Свет-береза», «От Воронежа до Берлина», малый альбом «Воронеж», значительная часть книг «Отчего края», сборники произведений Ломоносова, Станкевича, Янониса, воронежских: Жигулина, Прасолова, Никулина, Чалого, Полякова, Олега Шевченко, Посвежинного, Голубева, Котенко...

Подготовлены также сборники публицистики «Родное Черноземье», «Колос на ладони», «Память сердца», где из разных областей авторы — писатели и журна-

листы, среди них: Евгений Носов, Семен Борзунов, Иван Сидельников, Егор Исав, Василий Песков, Михаил Шевченко, Владислав Шаповалов, Михаил Тимошечкин, Владимир Евтушенко, Анатолий Старухин, Вадим Кордов, Владимир Новохатский, Владимир Молчанов, Валерий Барабашов, Виталий Жихарев, Владимир Петропавловский, Олег Шевченко, Борис Ваулин, Эдуард Ефремов, Пятерим Варфоломеев, Иван Щелоков, Геннадий Воробьев, Петр Чалый... Это — лишь часть имен.

(Гонорар за составительство «Родного Черноземья» был переведен мною в Фонд мира. Я не вполне был уверен, что средства идут именно на укрепление мира, но много общественного фонда в стране не существовало. А я еще в юности мечтал о фондах помощи вдовам войны, фонде исторической памяти — ее возрождению через новые памятники, серийно издаваемые книги, библиотеки с уголками родного края, фонде культурного возрождения провинции: разрушенных лихолетьями парков, усадеб, церквей, старинных зданий в бывших уездных городках и на просторах страны. Разумеется, я тогда не знал, что самого разного профиля зарубежные (а в перестроечные дни — и наши) фонды всегда найдут тысячи хитроумных комбинаций, лазеек, оформленных в «законно» договорные бумаги, чтобы благоденствовал фондовый аппарат с его отростками, и на них шла значительная часть поступлений, и что можно в тех фондах устраивать ловкие гешефты и на вдовах, и на сиротах, и на концлагерных узниках... Все же в перестроечные годы я несколько раз переводил посильные гонорары суммы — в фонды помощи черныбыльцам, восстановления церкви, культуры и основанных мною да так и увядших именных подразделениях Фонда культуры — Бунина, Платонова, Прасолова...)

В МОСКОВСКИХ ГОСТЯХ

В Москве Иван Иванович Акулов, у которого, по неизменному его приглашению, остановился, рассказал о том, как он, еще писатель, есениновед Юрий Прокушев и поэт Валентин Сорокин были на приеме у Председателя российского Совмина Виталия Ивановича Воротникова, и их трагическое видение русской деревни, истощенной земли, непроезжих дорог нашло полное понимание на высоком властном этаже: состояние отечественной культуры всегда занимало ум и сердце нашего выдающегося земляка.

В квартире Ивана Ивановича — как в собственном доме: в трех комнатах — всюду чистота, уют, лад, везде чувствуются добрые глаза и руки добрейшей хозяйки Галины Григорьевны. Не дают забыть в бездействии или пустодельничать старинные часы-кукушка: через каждый час напоминают о быстротекущем, летящем времени. Всюду — каслинское литье: поднявшийся на задние лапы медведь, вепрь и нападающие на него волки, кузнец, изготовившийся вскинутым молотом ударить по наковальне, конь на воле и конь в упряжи...

Размышления, оценки Иваном Ивановичем текущего всегда интересны, верны, нередко остроумны: «Поколоение, обожженное войной, — это как ветка, опаленная морозом: здесь, как ни храбрись, — надлом, урон, потеря»; «Разорвалась связь в цепи поколений. Ну что можно сказать нам детям нашим? Кто были наши божки и владыки? А какое расхождение слова и дела, крика и подспудно-темных делишек?»; «А что за песни: в одной — едут за туманами и запахами тайги. Выступал перед нами замначальника стройки БАМа, сетовал: “Вы, писатели, раскрутили это колесо, повалили к нам толпы любителей тумана и экзотики — не с мастерками, а с гитарами. Они ничего не умеют, ничего не хотят делать, им ни к чему такой подвиг, чтоб на морозе рельсы укладывать...” Побросали и паспорта, и ги-

тары, и ботинки, ошалело помчались кто куда. Или другая песня (“Мой адрес не дом и не улица, — мой адрес — Советский Союз”) — песня алиментщиков, что ли: ищи ветра в поле? А если всерьез — напористый призыв откреститься от отчего края, оборвать корни. Конечно, хорошие писатели при любой погоде останутся. Вон Юрий Бондарев — он мне не представляется художественно сильным писателем, но его “Игра” — страницами небольшой роман, а сколь это значительно, важно, своевременно!»

Встреча в «Советской России» с главным редактором и редакторами издательства — разговор о писателях-классиках и о современных, взывающих к спасению памятников провинциальной культуры, имеющих национальное, подчас мировое значение. Редакторы — московские не только по прописке, но, слава Богу, чувствующие и понимающие значение замосковских, на тысячах верст раскинутых памятников, на исторических полях, реках, холмах Отечества.

В одном из кабинетов именитых «Известий» — встреча и долгая беседа с Юрием Грибовым, писателем, редактором «Недели». Что же до всемирно известной газеты — ни за день, ни за месяц всего не увидишь. Многое — сугубое в этих длинных коридорах, такое ощущение, что здесь замкнутый мир, не ведающий что он — в центре Москвы, близ памятника Пушкину. И всюду почтенные мужи восседают за большими, бумагами заваленными столами, бегучие младоперья носятся по коридорам с гранками, газетными полосами, кипами бумаги. Мировая контора пишет?

Российский Госкомиздат. Что-то и здесь меняется. Лена Панфилова-Бубеннова то ли собирается уходить, да и другие какие-то смурные и здесь словно мало-временные, готовящиеся оставить служебные стулья ради иных.

Здесь узнал о смерти писателя Катаева — пахнуло на меня детством, всплыла перед глазами подаренная мне учителями школы в пятом классе книжечка «Беллет парус одинокий». Что ж, все паруса когда-нибудь уходят из нашей жизни, скрываются за неземные горизонты.

В Союзе писателей России. Долгая беседа с Михаилом Шевченко, земляком, секретарем Союза писателей России — об «Отчем крае», о Доне, о родных россоспанских, подгоренских, белогорских уголках, о помощи молодым писателям-воронцам. Жаловался, что работа раздергивает, недостает времени написать что-либо дельное, а годы уходят. Искус этот — для многих, и многих он срезал и срезает под корень. Здесь так: или чиновничья должность, суета, мельтешение, ты на виду, на слуху, пока служишь и представляешь; или же — литературная работа по-черному, никому не видимая, никем не поддерживаемая; а если и выйдет книга — как отзовется (не в прессе, не в рекламе, а в читательских сердцах)?

И в нескольких сотнях метров — как другой мир — квартира Леонида Максимовича Леонова, последнего из великих еще от первой трети двадцатого века, последнего русского классика, последнего из могиан. На встрече также — Олег Михайлов и Арсений Ларионов, корреспондент «Советской России». Эти вмиг промелькнувшие три часа в его доме — будто под неким силовым полем ума, правды, боли и... пророческого. Он один — будто спрессованный ум целой академии. Говорит тихо, без аффектаций, но каждая фраза — или неожиданная мысль, или запоминающийся образ; чувствуется огромное природное дарование, внутренняя культура души и ума, многоприобретенное знание. Говорит так, что первое впечатление невзрачности (хрупкая фигура, немощное тело, вывороченная нижняя губа, один глаз полуприкрыт, извиняясь, что забнет, несколько раз подходит к окну, проверяя, плотно ли прикрыта фрамуга) куда-то девается, и исподволь зав-

ладевает тобою некий свет, какое-то сильное излучение от тщедушного восьмидесятипятилетнего старца, энергия высокого духа, разума и культуры. Поначалу — как бы сглатывает трудноразборчивые слова, но вскоре отдаешься магии мысли, образа, чувства. В столовой, где писатель нас принимал, — большой буфет, кресло, овальный стол, на нем в большой вазе — яблоки, виноград, за дверью — огромная квартира из нескольких просторных комнат и коридоров, но все в нем, он один на огромный дом, может, и на огромную Москву, может, и на огромный мир. Из беседы рождалось письмо против поворота северных рек на юг, Леонид Максимович в нескольких точных фразах обосновал экологическую, нравственную, национальную опасность и недопустимость замышляемого проекта. Речь шла также о современной угрозе войны, о новом курсе новой советской верхушки, о природе, о России и о многом, возникавшем побочно; о чем, разумеется, Леонов, передушил за свою жизнь и он часто прибегает к такому послы: «В моем романе (“Вор”, “Дорога на Океан”, “Соть”, “Скутаревский”, “Русский лес”) об этом сказано так...»; или же: «В моей “Метели” есть об этом...»

Все услышанное точно не пересказать — так, лишь малые, в сотую часть, осколки его мыслей, образов, оценок. Но пусть хоть осколки... «Самый главный перекресток человечества — это сегодня»; «Сквозь толщу книг истина труднее видится»; «Мыслим мы вовсе не лучше, нежели Эвклид или Тацит. А водородная бомба — противомыслие, противочеловеческое»; «Чего нам заглядываться на Запад, если там порнография и тела, и духа»; «Надо хотя бы час в день всматриваться будуще столетие — там ожидается страшное».

Стал расспрашивать меня о Черноземном крае, о его лесах и черноземах. Вдруг спросил: «Что народу нужно?» — «Правда и справедливость», — ответил я общим, но давно мною выстраданным. — «Да, правда, прежде всего. Не надо замазывать гангрену, не надо прятать от народа ни его слабости, ни слабости власти. Наш народ и чуток, и доверчиво-беспечен, и стар, и молод, и весь в прошлом и, может, еще и в будущем. Я люблю полотно Нестерова, его монашескую Северную Русь — Русь уходящую. Но мне теперь этого мало. После всех страшных испытаний и страданий народу нужна вера в завтрашний день».

Не могли не обратиться к теме писательства. Леонид Максимович не без горечи сказал: «Писательство — это одержимость. Поединок с собой. Стремление оказаться сильнее замысла. У меня десять изданных томов, меня читают в мире, иногда хвалят, казалось бы, живи себе спокойно, а нет — ночь, схватываешься и пишешь сломанной, на перевязи, рукой. Никогда у серьезного писателя не получается спокойно. Моя пьеса “Метель” ни Сталину, ни Молотову не понравилась. Разумеется, и по нисходящей — до всесоюзного писательского секретариата. Пусть бы... Метель действительно тяжелая, вьюжная, переметающая народные дороги. Но вот и без всяких аллегорий и метафор “Русскому лесу” устроили разнос. И не только высокие чиновники-лесовики, но и литературный сотоварищ Паустовский на московском писательском совещании... А некий высокого ранга лесной чиновник корил: “Вы ратуете за восточно-прусскую систему лесопользования, а что такое Восточная Пруссия? — родина Розенберга”. Я, ответил: “Не отказываюсь от полезных привычек, даже если они родились и не у нас”. В самом деле, это же разумно: сколько вырубить — столько воссоздать. Никаких революций ни в природе, ни в человеческом общежитии. И я не из спешащих. Кинопамфлет “Бегство мистера Мак-Кингли” находился без бега, то есть без движения шестнадцать лет, а “Раздумья у старого камня” ждали своего часа двенадцать лет».

Прощаемся, оставляя его одного в огромной квартире, в огромном столичном городе, в огромном мире, который он так пронизательно увидел...

в годах у Жигулина. Он болен, пьет горстями таблетки, весь какой-то раскординированный, размягченный, замедленный, с неверными движениями. За годы нашего знакомства и нашей дружбы неузнаваемо изменился. Еще три года назад в нашей поездке на малую родину, на Белогорской монастырской круче, он был оживлен и весел, но три года — не три дня. Тут еще семейное. Полный разрыв с отцом, всю жизнь резким человеком, который не так давно в телефонном разговоре бесцеремонно спросил у сына, на кого тот написал завещание. «Я еще жив, отец, о чем ты говоришь!» — только и сказал сын. А ведь для Анатолия Жигулина отец всегда был часть его самого, часть Родины. И вот обрыв, непонимание, ненависть. Ирина, жена Анатолия Владимировича, рассказывает, что сейчас он весь на пределе: страшный груз прожитой жизни, Колыма, болезни, долгая неустроенность вконец раздвигают нервы; рассказывает при нем, что еще лет пятнадцать назад, когда они жили в Богородицком-Беляеве, Толя, тогда гибло запивавший, однажды чуть не выбросился из окна; уже свесился, наполовину высунувшись, и она, Ирина, ухватила, остановила его и в отчаянии спросила, зачем он это делает, а он ответил: «Меня Володя Радкевич зовет!» (Радкевич — друг его юности, друг по Колыме, трагически погибший, часто являлся ему во сне и все манил и звал). Ирина досказывает, что Толя и сейчас при беспокойном сне ворочается, иногда схватывается, стонет, плачет: ему снится, как его бьют, преследуют, травят собаками. А тут вечное — отцы и дети. Примитивная эстрада, которую время от времени включает сын, отца раздражает. Тише! Тише!

УЙТИ СО СЛУЖБЫ — ЗАТЕРЯТЬСЯ?

1986 года февраль — мой уход на профположение. Отдав Центрально-Черноземному книжному издательству более пятнадцати лет, я твердо решил на уход.

Общий взгляд на мое решение — резко отрицательный. И все — об одном: с коня обычно сбивают-спешивают, а ты сам хочешь спрыгнуть с него; пусть ты не изменишься, многое вокруг тебя изменится и многие изменятся — перестанут тебя узнавать; твой уход — на радость твоим завистникам, злопыхателям и ненавистникам...

Виктор Чекиров, главный редактор издательства и мой трудный друг, сколько мог, отговаривал, дескать, грустно будет жить вне привычного ритма, вне колеса, вне того круга, который по своей воле лучше не покидать; Анна Букина, ответственный секретарь областного общества книголюбов: «А ты подумал о детях своих? Им надо помогать в жизни, а кто ты будешь? Человек без занятий. Тебя перестанут узнавать ранее кидавшиеся жать тебе руку. Даже друзья». — «Значит, грош цена или мне, или моим друзьям». — «Да не о том... Все будет при тебе, но в жизни-то как: чем умнее и честнее человек, тем больше зависти к нему, тем больше желания измазать грязью. А когда с коня упадешь — попытаются затоптать. Я была на партийной работе, ушла — теперь назад не втиснешься, круг сразу смыкается». Дора Гордина, журналистка: «Нельзя выпадать из гнезда. У Николая Коноплина, крепкого писателя, были и деньги, и положение, а он не уходил из писательского аппарата, знал: уходишь на год — забывают на век. Одно кресло приближает другое, у тебя значительное общественное будущее, а ты его сам перечеркиваешь. И поднимается пена вокруг, зачем?». Леонид Коробков: «Нельзя уходить. Уйти — это значит стать литературным поденщиком. И вонзят в тебя зубы и жала те, которые прежде зависели от тебя, пусть даже от твоего стола, вроде бы и не столь приметного в цепи столов». Михаил Тимошечкин, поэт, земляк из Росоши: «Нельзя сдавать позиции. Мы и так порознь. Нужен единый фронт — сумма позиций, окопов, траншей, высот и пиков. Уходить — зачем? Написать настоящее? Напишешь. Но сколько уйдет сил и времени на пробивание написанно-

го. Вспомни Константина Воробьева. А сколько их, таких Воробьевых, талантливых, безвестных, на кого не нашлось своего Твардовского? Сколько талантливого написанного, о чем, о ком — не узнать нам: безвестные рукописи канули в темь. Жизнь — как река. Выйди на миг из нее — другие люди — тебя забудут, жизнь все обновляет». Олег Гуков, интересный, пишущий на геологические темы прозаик: «Нельзя самому скатываться с горы... Те, кто ныне почтительны с тобой, будут искать любой повод, чтобы поквитаться с тобой: они в своей зависти, в своей ненависти никогда не простят тебе, что ты умнее, честнее, порядочней их». Юрий Гончаров, сильный писатель, ко мне дружественно настроенный и угрюмовато, сдержанно относящийся к человечеству: «Едва вы закроете дверь и отдадите ключ другому, ваши завистники и недруги попытаются превратить вас в нуль, всем своим видом будут показывать, что вы нуль, и с тем большей настойчивостью будут показывать, что прекрасно понимают, что вы не нуль и их ненавидящий легион нулевых никогда не пополните». Иван Евсеенко: «Уйдешь — поднимут голову твои враги. Накинутся, как стервятники, будут клеветать на твое прошлое и настоящее». Евгений Носов, выдающийся прозаик деревенской темы и член редколлекции «Отчего края», выразился в том духе, что, затеяв уход, надо иметь и две-три готовых рукописи, и двадцать три годовых запаса денег для нормального семейного быта, а поскольку этого нет, то и не стоит рвать постромки. Василий Песков, дружески ко мне настроенный, сослался на свой долгий стаж в «Комсомольской правде», признав, что служба отнимает время, но отнятое время оборачивается большими приобретениями: лучше узнаешь и близкое, и далекое, и родной край и далекие края, а главное — постоянно встречаешь неповторимость человека. Летоиздатель и летописатель земли воронежской, мой старший друг Владимир Александрович Кораблинов, пробывшая двадцать лет главным редактором Александра Федоровна Жигульская, ученый-литературовед и писатель Анатолий Михайлович Абрамов, поэт Владимир Григорьевич Гордейчев, да и многие другие — понимают, но не совсем одобряют мой уход из издательства...

Но остановить меня уже никто не в силах. Душа требует иного — внеиздательского.

ОЛЬХОВАТКА — КРАСИВОЕ НАЗВАНИЕ.

Весна, писательская поездка с Валерой Барановым в **Ольховатку**. Милый уголок воронежской земли (воронежской — поименование, конечно, диковатое, если вспомнить, сколько племен так или иначе обретались здесь до славянского заселения, когда Воронеж и в помине не было). Прогулка по утренней Ольховатке, ухоженные улочки, приусадебные садоочки, доброприветливые жители. А близ железнодорожного полотна — вывороченные пролеты рельсов с бетонными шпалами, целые горы их — не столь давнее и не оправдавшее себя новшество на железной дороге, лжеулучшение, каких столько от поры до поры сваливается на людей и страну труда!

Изъездили, исходили почти весь район — села **Марьевка, Шапошниковка, Копанная, Гвоздовка, Назаровка, Ясиновка, Юрасовка, Заболтовка**, мельком — Неровновка, Дроздово, Караешник, Костово, Постояловка.

На первом выступлении перед учителями достаточно резко говорил о необходимом воспитании истинном — историческом, педагогическом, социальном, а не насквозь идеологическом. Обращался к именам Ушинского, Сухомлинского, Шолохова, Твардовского, высказал критические мысли о происходящем в школе, университете, сельском хозяйстве, что сопровождавшему нас райкомовскому инструктору некоему бдительному Вышкваркову показалось настолько предосудительным, что он поспешил донести секретарю по идеологии Екатерине Дмит-

риевне Хорошеньковой. Последняя спросила о нас Петю Чалого и Витю Беликова. Те посоветовали поприсутствовать на наших выступлениях.

Для каждой группы слушающих находил им интересное. У механизаторов — вспоминал себя, прицепщика, помощника комбайнера и тракториста, апрельской ночью бороновавшему зябь, сотрудникам райбольницы рассказывал о медсестре, спасшей отца на заснеженном холме войны, старшекласникам — об их районе и воронежской земле, органичной части России, на сахарном заводе вспомнил, как в ранней молодости со сверстниками приезжал сюда загружать жом для колхозных буренок... Разного жанра, разной тональности... и в завершение — стихи. Понравилось не только слушателям, но и Екатерине Дмитриевне, которая звала приезжать снова и снова.

Но, конечно, разрыв между нашей городской жизнью и деревенской страдой — очевидный. Валера Баранов, редактор прозы журнала «Подъём», спросил у джорк: «Книги читаете? “Подъём” знаком вам?» — «А то нет! Каждый день подъем. С пяти утра!»

ПРИЯТИЕ И ПОНИМАНИЕ

1987 года январь — **Москва** — встречи сугубо по Прасолову: надеюсь подготовить сборник воспоминаний о нем. Госкомиздат — договоренность о сборнике, правление Союза писателей России, где секретарствует старший друг поэта Михаил Шевченко. Встречи с Василием Песковым, Вадимом Кожинным, Анатолием Жигулиным, Станиславом Куняевым, Юрием Кузнецовым, Владимиром Гусевым, Инной Ростовцевой, Олегом Михайловым, Сергеем Викуловым. У всех полное приятие и понимание, кроме, пожалуй, Ростовцевой. У нее мало терпимости к тем, кто хорошо знал Прасолова. Она видит только саму себя полномочной говорить о поэте, распоряжаться его именем и толкованием его страниц. Может, и не все так...

Воронежский круг очерчен: Анатолий Абрамов, Александра Жигульская, Виктор Акаткин, Раиса Андреева-Прасолова, Михаил Тимошечкин, Евгений Новичихин, Олег Ласунский, Петр Чалый, Виктор Беликов, Владимир Саблин, Людмила Бахарева, Владимир Шуваев, Сергей Риммар... Круг предварительный и, разумеется, размыкаемый: найдутся еще знавшие поэта и желающие сказать о нем.

ПО ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЕ

1987 года февраль — **Москва**, вечер в ЦДЛ, посвященный четырехсотлетию Воронежа. Среди выступавших — Анатолий Абрамов, Виктор Попов, Евгений Новичихин, Олег Шевченко, Геннадий Лутков, Эдуард Пашнев, Александр Лисняк... Вел вечер поэт-земляк Егор Исаев, который всех выступавших представлял как талантливых, сыпя завышающими эпитетами-определениями: поощренные таким образом собратья разогрелись, читая по несколько стихов, заставляя заметно уставать и скучать полунаполненный большой зал. Почувствовал общее настроение, я прочитал всего один короткий стих, а далее сказал: «Дорогие москвичи! Вы слышите здесь голоса воронежцев, как неизвестных, так и известных. Но, к сожалению, вам не придется услышать ни голоса Анатолия Жигулина, ныне болеющего, ни голоса Алексея Прасолова, которого вот уже пятнадцать лет нет с нами. Но без этих фамилий уже нельзя представить не только воронежскую, но и всесоюзную поэзию. И я считаю, что наш долг достойно и несуетно назвать их здесь. Они поэты — настоящие, их слово оплачено их судьбой».

Эдуард Львович Афанасьев, который был на ближнем к президиуму ряду, ска-

зал по окончании вечера, что именному лауреатствующему президиуму этот мой спич явно не пришелся по душе. Правда, после вечера Егор Исаев подошел ко мне, пожал руку, сказав: «Молодец. И стихи хорошие, важные, и хорошо, что ребят вспомнил».

С Афанасьевым — по вечерней Москве: Никитские ворота, Гоголевский бульвар, Волхонка, у бывшего храма Христа Спасителя, Замоскворечье... Вечерняя — особенно полудночная — Москва вернее возвращает в себя раннюю, историческую, прежнюю. Чувствуешь если не стыд, то ответственность перед ушедшими.

ЧЕЧНЯ — ЧЕРЕЗ ГОДЫ И ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Июнь 1987 года — **Чечня**. Тегеранский поезд в утренний час доставил воронежскую писательскую делегацию (Евгений Люфанов, Станислав Никулин, Анатолий Ионкин, Евгений Новичихин и я) в **Грозный**. Встреча в партийном обкоме, в писательской организации. Вечер в республиканской библиотеке имени А.П. Чехова. Мое выступление: «Дорогие друзья. Хочу показать вам снимок, который сделан первого мая 1945 года в Берлине. Среди руин на переднем плане немногие бойцы — все, что осталось от роты, которой командовал мой отец и которая, пройдя от Дона до Шпрее, штурмовала имперскую канцелярию рейха. Всего несколько человек из ста тридцати. Там, за кадром, длинный список имен, фамилий русских, белорусских, украинских, татарских, киргизских... Там и погибший на Висле боевой друг отца — чеченец, старший лейтенант Балет.

Четверть века назад я, выпускник Воронежского пединститута, впервые приехал на Северный Кавказ учительствовать в большое чеченское селение Валерик. И по сегодняшний день памятное: дымчатая синева предгорий, журчание рудой воды в речке, стайки школьников и школьниц, их веселые возгласы. Я учил их мировой культуре и языкам, мы бродили окрестностями Валерика, и я тоже учился у них — детскости и естественности, природному.

В сегодняшнем мире тревоги, разобщенности, недоверия меж людьми и странами как важны малые частности: есть в Воронеже мой кров, где чеченца всегда встретят как близкого, равно как и в Грозном, Валерике есть дома, где меня встретят с искренним памятливым радушием. Нет ничего выше человеческого мира, любви, чести и доброй памяти.

В этом зале много женщин, и это прекрасно, когда в зале, в доме, в мире много женщин. Молодых женщин. Это значит, что жизнь человеческая продолжится новыми поколениями...»

Ножай-Юрт — поездка через **Аргунь**, через **Гудермес**. Горный район, как и Ведено, Назрань, Шелковская, Старогладковская, Толстой-Юрт. Стоял на берегу Терека, вспоминал повесть Толстого «Казачи». Забрел в выкрашенный в черный цвет музей Ерошки — толстовского казака. Два с половиной года пробыл Толстой на Кавказе, из них полтора года в Старогладковской. Камень-песчаник Толстого на Терской гряде. Скальные глыбы. Виден Грозный. *(Мог ли подумать казачий мир, да и все мы, что Кавказ, как в имперские тяжелолетья, снова, теперь при развале Союза запольхает огнем, и дорого обойдется замиренце здесь? Поражаешься тому, как безответственно, преступно рыночная власть вбросит между людьми, между народами зажигательную смесь корысти и ненависти.)*

Все дни и везде душевно встречают. «Он нашим горам путник не чужой» — в главной газете Чечено-Ингушской автономной республики напишет обо мне моя ученица Асет, преподавательница русского языка и литературы, основательница Валерикского музея. Последний день — день отдыха, и я попросил отвезти жела-

ющих из нашей группы в село моего первого учителя. Нас сопровождает зять Махмуда Эсамбаева — на весь мир прославленного танцора. В Валерике на окраине — половина села встречающих: бывшие мои ученики, гости из соседних селений, руководители Урус-Мартановского района. Осмотр селения, школьного музея. Далее — поистине скатерть-самобранка со всеми видами хмелящего: коньяками, водкой, сухими и креплеными винами, кавказскими и импортными, — здесь явно махнули рукой на горбачевский сухой закон. Давно смирясь с моей неловко (или праприродно) звучащей на чеченском языке фамилией, встречают меня как некоего героя. *Об этом не раз в разных аудиториях вспоминал Евгений Новичихин, да у него есть и небольшая книжка «Вспоминалки», где он об этом пишет.*

СТРАСТИ ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ

Из года в год, из месяца в месяц — времяотнимающая издательско-писательская служба. Даже хорошим замыслам и свершениям мешают бесконечные изурительные писательские собрания, совещания, встречи, которые якобы про высокое писательское назначение и служение и про писательское воплощение трудовой народной жизни; а чаще всего — ни служений, ни воплощений...

Три часа длится январское 1987 года писательское собрание — литераторы со всего Черноземного края, журналисты, академические университетские умы, редакторский корпус. Выступаем пламенно, да все — о перестройке, да все — о нравственности. И вот поднимается некий В. из Белгородской писательской организации и принимается зачитывать письмо некоего своего столичного литературного собрата, который расписывает, какой, дескать, плохой писатель — автор «Горячего снега» (все внимают, тем более фигура в осудительном плане — для многих поспешающих удобная: консервативная и уже искусанная столичными борзыми); затем извлекает из папки сугубо личное письмо, но опять-таки с негативными строками об авторе «Горячего снега». Длинное, на целое выступление, письмо, и когда полуписатель, полудонощик на миг переводит дух, я не выдерживаю и обращаюсь к залу: «Вот здесь нами не раз произносилось слово “нравственность”. А сами мы становимся соучастниками безнравственного дела, которое унижает всех присутствующих: частное, не нам адресованное письмо, да еще пристрастное, оценочно злое, выслушивать с олимпийски-благодушным снисхождением — такого прежде у нас не бывало». Нет, реакция на этот раз — не «олимпийски-благодушная»: меня тут же поддержали Евсеенко, Акаткин, Чекиров, Попов, Пылев, московский Гусаров. На этот раз — да. Но, чувствуется, подступает времечко...

Вскоре — снова собрание. Письмо (Подобедов, Пашнев, Коробков...), в нем — оглушительная критика журнала «Подъём»: облыжно обличаются его якобы патриархальность, православный дух, забвение марксистско-ленинской эстетики. Новые неистовые ревнители письма пишат в наивысшие органы страны. Настаивают: только за ними правда (партийная!), только они — настоящие ленинцы-литераторы, только им — административные, материальные, премиальные преференции.

Разумеется, «Подъём», как и всякий другой журнал, — живой и не могущий быть без недостатков. Я не раз на заседаниях журнальной редколлегии сетовал, что у него, по сути, нет магистральных направлений и необщего выражения, как в недавние годы — у «Севера», «Волги»; заикался даже о желательной замене самого названия, напоминая, что в тридцатые годы нашего века в Ростове существовал рапповский журнал «На подъеме», который яростно ополчался против шолоховского «Тихого Дона». Того журнала давно нет, а наш «Подъём» все поднимается в своем любовом названии.

На писательском собрании в конце года — долгий разговор о перестройке и молодых. Говорил о том, что нынче как никогда надо соотносить свое слово с народной судьбой, ибо писательское слово, похваляющееся своей формой, но без эстетического стыда, без милосердного, сострадательного начала и боли не имеет ни смысла, ни истинной красоты, ни катарсиса для будущих поколений. Перестройка? Подлинный писатель, да в сущности всякий здравочувствующий и здравомыслящий человек, всегда — в каждодневном перестрой-обновлении, даже рождении, всегда в движении мысли, чувства, социальных предугаданий. И странно бы звучало пожелание «перестроиться» Федору Александровичу Абрамову, Василию Макаровичу Шукшину, Валентину Григорьевичу Распутину, которые задолго до перестройки чувствовали тектонические национальные и мировые сдвиги, ворочали такие «перестроечные» глыбы, что надрывалось сердце. А вот многим из нас — да и писательской организации в целом — перестраиваться давно пора и в более чутком нравственном плане, и социальном (развенчание вирусов престижности, масс-культуры, всякого рода оглушающих соблазнов для молодых), и чисто организационно, технически (издание газеты писательской организации или же общей газеты местных творческих союзов, выпуски целевых творческих номеров, создание филиалов и молодежных литературных «дружин» в крупных городах области...) Наконец, нам надо перестать обольщаться и заниматься пустяками вроде хмельных диалогов: «Какой писатель пишет лучше?» Научиться беречь свое время — как время Родины.

Вспомним знаменитые, трагически расширенные до библейских глубин пять минут перед казнью из романа Достоевского. Как можно верно распределить и целю израсходовать пять минут. Пять минут — целая вечность!

Накатывают эти собрания, совещания, представительские встречи. И кажется, не будет им конца — до самого конца. И, конечно же, письменные строки и устные споры влекут за собой, доносы, кляузы, клеветы окологкультурной публики. Интриги, зависть мелкого гнуса не то что вгоняют в стрессы, но — донимают. Чувствую — начинаю уставать. Прежде — не уставал. Бог, природа, родители дали недюжинные душевные, моральные, эмоциональные, даже физические силы — и куда это уходит или уже ушло? Бесконечные силы молодости тихо истаяли, и усталость навещает все чаще.

ЛИНИЯ РАТНОЙ СЛАВЫ

Первая половина 1988 года — публикация в «Коммуне» и в «Подъеме» (а позже — и многократно в книгах) публицистической статьи «Плацдармы памяти»: о состоянии и запоминании (через вещные знаки, скульптуры, книги, выступления перед школьными и студенческими аудиториями) Воронежского рубежа ратной славы. Огромное число откликов. Мои выступления на сессии городского совета и на исполкоме. Решение городской власти о благоустройстве Линии ратной славы; вообще-то название «линия» условное, ибо город приходилось защищать вовсе не на линейно прямом проспекте, а в таких изломах, на такой неровной черте, на таких территориальных петлях, что при точном названии потребовалось бы прибегнуть к сумме геометрических определений. Рубеж — более точно, но и общо. Что ж, линия...

Что предшествовало вышесказанному? Осенью 1987 года с Александром Ивановичем Гринько, участником Великой Отечественной войны и обороны не одного города, автором первых и обстоятельных книг о боях за Воронеж, мы на «жигуленке» почти неделю объезжали наиболее важные рубежи, уголки, точки противостояний, исходили былые высотки, холмы, роци, заросшие рвы и плацдармы, беседовали с участниками обороны. Много находилось в забвении. Александр Иванович просил меня напомнить живущим о погибших.

Весенняя **Москва**. «Ленинка», просмотр журнала «На посту», чтение неистовых «напостовцев», зачем? Один из них — Безыменский — вещал-вопросал: «Что значит сон любви великой / И ласковое слово “мать” / Тогда, когда оно веригой / Висит на рвущихся ломать, / Ломать и строить»? Вардин, гордящийся званием «литературного чекиста», Алтаузен, готовый расплавить памятник Минину и Пожарскому и задающийся вопросом, надо ли вообще Россию спасать, Киришон, философ Лосева за смелое слово, «за литературные оттенки» призывавший ставить к стенке, и, конечно, молодые «водители» напостовцев — Авербах, Лелевич, Родов...

(Синдром ломания-разрушительства — как все это, не пройдет и полувек, преемственно отзовется в откуда-то выпорхнувших новореволюционерах и младореформаторах. Вечный легион разрушительства! Ушли воспеватели светлого комбудущего, а их духовные внуки объявились как ломатели этого затеянно-го их дедами будущего.)

Плавали с сыновьями Игорем и Олегом по Дону. Впечатлений море! Меж **Старой и Новой Калитвами** — нечто новое: водозаборная, отсосная станция недалеко от Россоши и химического завода. Коса-пляж меж слободами-селоми. Здесь в полуденный час — встреча с отцом и матерью. Солнечная родина!

Итак, десять дней путешествий позади. Прошли на веслах сотни километров, навстречу и вдогон двигались катера и баржи, по ночам свет баржевых прожекторов ударял по нашим прибереговым палаткам, ровный, тяжелый гул барж возникал издали и долго не затихал. Белели по прибережным взгорьям села, крутые берега мелкопятнисто темнели гнездами молниебыстрых ласточек-береговушек, на островках, словно в тысячелетней задумчивости, стояли недвижные цапли, а в зарослях пели зорянки, варакушки, плакали иволги и томительно куковали кукушки, носились крачки над вечерними водами, и орлы чертили над Доном медленные державные круги.

У реки — сокровенная душа, своя память и своя меняющаяся жизнь. И Дон с его стремнинами и берегами еще живой, как бы ни распаивали его поймы, ни вырубали прибереговые рощи, ни травили стоками, ни черпали-выпивали многочисленными трубами, поливающими поля даже в дождь, какие бы овражные наносы не устремлялись в его прибереговые воды, образуя инородные зловещие клинья-косы, год от году увеличивающиеся и зарастающие дикорослью. Правда, на Дону еще существуют, в дни моего детства столь деятельные, а теперь угасающие службы: фарватерно-русовая, руслоочистительная, путевская, семафорная, рыбинспекция; иные из них — вовсе немощные, малая помощь от них великой реке. И все же... Найдешь час-другой побродить донским побережьем — столько еще услышишь певчих птиц, увидишь удивительных бабочек, стрекоз, мотыльков, и такое твоим глазам многотравье откроется: белокрыльник с крупными, как лопухи, белыми листьями, вероника с сине-сиреневыми метелками, подмаренник — тонкий стебель, игольчатые листья, желтые цветы-метелки, синеголов с зубчато-острыми листьями и цветущими синими головками-ежиками, чина луговая, пижма, лютик...

(Дон — мой первый и самый потаенный исток на земле, синекрыльый — волна за волной — привет из младенчества, главный образ моих строк о природе, родине, мире. Мне выпадет исходить, исплавать его от начальной версты, от Иванозера, до приазовских гирл, я побываю во всех его прибереговых больших и малых городах, знаменитых селах, слободах, станицах, сожалея лишь о том, что по настоящему — основательно, вживчиво — с донскими жителями не встретился: на это бы не хватило жизни. Но я вновь и вновь возвращался к великой реке

моего детства, написал о трудной ее судьбе немало публицистических страниц. Дон — главный образ моих прозаических повествований, о нем я издал стихотворный сборник «Великий Дон». Рукопись этой двухчастной будущей книги «Великий Дон. Воронеж-град» была рассмотрена на разных уровнях, одобрена всевозможными экспертными комиссиями, рекомендована к выпуску в свет по Федеральной книгоиздательской программе России в 1995 году, но из-за выборов, дефолтов и прочих неурядиц была издана только через семь лет — в 2002 году.

А еще я и мои сыновья собирали строки о родной реке, упоминаемой с античных времен. Нами троими был составлен поэтический двухтомник о Доне из стихотворений отечественной классики, и в 2015 году издан его первый том («А Дон по-прежнему струится...»), оказавшийся единственным из-за трагического поворота семейной судьбы: смерти-гибели старшего сына.)

ОТ ИВАНОВКИ И РЖЕВСКА ДО МОРОЗОВКИ И РОССОШИ

И один, и с сыновьями я нередко навещал уголки малой родины поэта Алексея Прасолова. Их было не столь много, но в каждом была своя неповторимость и притягательная сила: Ивановка — малая родина поэта, в наши поездки уже доживавшая свой век; близкий Ржевск, когда-то хутор — имение Черткова (сюда в марте 1894 года приезжал Лев Толстой); Россось, педагогический техникум, где Прасолов учился; Дерезоватое-Первомайское, Новая Калитва, где он учительствовал в школе и работал в редакции; и, конечно, Морозовка, где протекли десять его детских и раннеюношеских лет, где он испытательно пережил железное нашествие, сильно отозвавшееся в документально-художественной повести «Жестокие глаголы», Морозовка, где в послевоенном разорении он с матерью сложил хатку — бедный кров на скудную тогдашнюю жизнь. Большой простор и малая хатка... Подворье выходило к Черной Калитве, а за речкой — пойма, село Евстратовка; это позже за Черной Калитвой поднимутся корпуса, башни, трубы Придонского химзавода.

Не раз я встречался на том подворье, в той хатке с Верой Ивановной, матерью поэта. В лето 1988 года мы заехали к ней со старшим сыном. Неторопливый голос, природная, крестьянская мудрость Веры Ивановны, спокойное приятие любого вопроса о ее жизни, видимые следы пережитого и на лице, и в словесном ответе, а также аскетическая обстановка внутри хатки глубоко взволновали Игоря: он несколько раз заговаривал о судьбе неповторимой семьи, о полевой родине и дорогах, от нее уводящих, о прасоловском ухабистом трагическом кратком, но и долгом пути; а вскоре прочитал мне стихи, посвященные памяти поэта, которые заканчивались строфой: «Стихло все. Пустынно было в поле. / Но пришли на утренний порог / Звуки и земной любви, и боли / Дальних ископанных дорог».

ПИСАТЕЛИ И КРЕСТЬЯНСКИЙ ВОПРОС

Есть такая форма — творческий отчет литератора на писательском собрании. На этот раз отчет мой: о творческой и просветительской деятельности. Начал с известной шутки о Чехове, жаловавшемся, что он пишет медленно, мало и плохо, и Бобрыкине, вроде бы всерьез утверждавшем, что он, напротив, пишет быстро, много и хорошо. Оживились и малопишущие, и многопишущие.

Отчет оказался обстоятельным (мои страницы о Снесареве, Бунине, Платонове, Прасолове, моя деятельность как председателя Бунинского комитета, депутата Воронежского городского совета, председателя комиссии по литературному наследию Алексея Прасолова...)

У многих нашли отклик мои взгляды на землю — как почву, историческую на-

копительницу, родину, планету. Что-то из опыта моей малой донской родины, а в подтверждение — философская мысль и художественная боль писателей деревенской темы: Абрамова, Акулова, Астафьева, Шукшина, Носова, Белова, Распутина. Земельный вопрос — и поныне себя не изживший. Эдуард Пашнев, давно уже вольный номад по ближним и далеким градам, сказал: «Вот вам готовый председатель российской крестьянской партии», на что мне пришлось отшутиться, что земле и крестьянству во все века куда лучше безо всяких крестьянских партий. Но в целом — разговор не бесцельный и более тревожный, нежели оптимистический.

РАСКРЕПОЩЕННЫЙ СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

1989 года май — **Москва**. Съезд народных депутатов СССР. Раскрепощенный съезд. Бурный съезд. Нет мира под оливами. Даже (или прежде всего) в писательском сообществе. У одних — настоящая боль, беды корненародные, экологические, социальные, межнациональные... У других — как и у их духовных дедов революционной направленности: разрушаем, строим, славим, критикуем, боремся, изворачиваемся и переворачиваемся, и опять, и опять боремся... Пущен в ход изболитительный ярлык — «агрессивное большинство»; не менее, если не более, агрессивно и меньшинство так называемой региональной группы. Но за численно уступающей группой — разогретое общественное мнение, пресса, телевидение.

Привезя верстку книги о русских писателях в издательство «Советская Россия», я в Москве имел возможность прослушать большую часть выступлений и все два десятка писательских, по большей части пронизанных знанием вопроса, болями и своего народа и большого Союза, тревогой за будущее (Дмитрий Лихачев, Борис Олейник, Ион Друце, Давид Кугультинов, Валентин Распутин). Правда, Валентин Распутин, многое, на мой взгляд, предугадывающий, оказался не в чести у поспешающей перестроечной элиты. Тем, кому по душе напористые, как конферансье, похожие не только по актерническим данным Черниченко и Евтушенко, явно ретроградными показались слова Распутина: «Хлеба и зрелищ — вот что исподтишка записали сейчас на знаменах перестройки... Идет почти открытая пропаганда секса, насилия, освобождения от всяких нравственных норм... Только смолкнет голос диктора, объявляющий о человеческих несчастьях и жертвах, как экранный эфир заполняет какофония бесноватой музыки... А если забудем еще и хлеб, замешанный не на поте и нравственности, а приобретенный в полном ассортименте распродажи национальных богатств, недалеко будет и до повторения судьбы Римской империи».

(Много позже, в декабре 2002 года, Валентин Григорьевич Распутин написал мне на заглавной странице своей депутатской речи: «Все верно тут и все уже позади. И впереди — все то же».)

В ГОСТЯХ ХУДОЖНИК КРИВОРУЧКО

Василий Павлович Криворучко, с которым мы знакомы и дружны четверть века, заехал ко мне в гости, привез большой этюд — можно сказать, картину (вид церковки в северном угрюмом лесу) — с наивно-трогательной надписью: «Виктору Будакову — доброму человеку, писателю-историку, борцу за культуру, за искусство. И дай тебе Бог еще столько лет, сколько сегодня, и дай Бог в каждые последующие десять лет я до твоих ста буду дарить картину со светлым сюжетом. И пусть нас ждет ежедневно прекрасный луг жизни природы... Василий Криворучко. 1 июня 1990 года». Наивная подпись! Я давно уже обретаюсь в среде, где душевные, духовные люди редко встречаются, может, куда реже, нежели на их пути попадаются такие ненавистники всего и вся, что полсвета готовы извести,

коли свет им мешает. И не знаешь, что будет с нами через год, через месяц, через день, а тут — пожелание на полвека! Еще лет пятнадцать назад Василий Павлович нарисовал очень выразительный и сильный мой портрет — в профиль в проеме церковного окна разрушенной церкви, а вдалеке прекрасные поля, холмы, перелески, словом, веками уничтожаемая и веками живая русская земля. Тогда Василий Павлович просил меня заглянуть в его мастерскую на пару сеансов, чтоб завершить последние штрихи, и я все откладывал на завтра, а теперь и художник, поди, запямятовал, где тот недовершенный портрет.

Приглашал меня Василий Павлович и на природу — нарисовать на фоне Дона, и тоже по моей странной неуместной беспечности не сложилось. Но всегда я остаюсь благодарен Василию Павловичу за его далекий, из моей молодости, рисунок. Удивительно быстро, вдохновенно исполненный рисунок.

(Позже меня рисовали много, и малоизвестные, и известные, заслуженные художники. Они рисовали с душой и выразительно, и спасибо им. Но более всего я люблю обращать взгляд на летящий рисунок большого художника и друга — рисунок из далекой молодости.)

ПИСАТЕЛЬСКИЕ И ЖУРНАЛИСТСКИЕ СТРАСТИ

1990 года декабрь — **Москва**, Театр Советской Армии, съезд писателей России.

Съезд шумливый, не обходится без внутренних обвинений; тем более «апрелевскому» лагерю достается. Да и союзному президенту — тоже: «Властитель слабый и лукавый, / Плешивый щеголь, враг труда...» Новоизбранное правление Союза писателей России: Александр Проханов, Валентин Распутин, Сергей Лыкошин, Лариса Гонченко, Владимир Крупин, Станислав Куняев, Валерий Ганичев, председатели краевых писательских организаций. Неожиданно и меня избрали в члены правления. А председателем стал давно дожидавшийся этого кресла Юрий Васильевич Бондарев. Но, видится мне, едва ли он продержится долго. На первом же правлении — непонимание. Организаторские данные у него малые. Когда он на трибуне — слушаешь с интересом, но и с медленно нарастающим внутренним протестом: много отвлеченного философствования, нетерпимости к иному мнению; и это постоянное «так сказать», и это заиканье. А писатель он сильный, еще, надеюсь, не один роман напишет.

Между тем либерально-перестроечная пресса и телевидение спустили на съезд всех борзых: дескать, в армейском театре заседает театр абсурда. Комментирующие, наподобие Доренко, наглы; чувствуется, готовы служить всем сильным мира сего, готовы чужого им извалить в грязи и лжи.

ТЮРЬМА В ДОНСКИХ СЕМИЛУКАХ

В конце мая 1991 года — **Семилуки**. Писательское выступление с Валерой Барановым перед заключенными местной тюрьмы — колонии строгого режима ОЖ 118/1. А по всей области (Воронеж, Россосшь, Кривоборье, Панино, Борисоглебск...) их набирается с полдюжины всякого режима — и строгого, и усиленного, и общего. Сколько же их по стране, и есть ли в них торжество не только закона, но и справедливости? И есть ли это территория нравственного перевоспитания? И этим ли душевно озабочены пенитенциарные власти — начальники и охранники тюремных узилищ?

Я знал, что в здешней тюрьме отбывал срок поэт Алексей Прасолов, близкий мне землячески, а также (это главное) идей и содержательностью своего творчества, и попросил райком о выступлении именно здесь. Заключенные собрались в красном уголке, и только ли роботы отличали их от обычного народа да тюремными

стенами? Понимал уязвимость и ложность своего шага: выступил — и через час ты уже вне колючих стен, а они, по-разному виновные, и в той ли точной мере, какую определил им суд, остаются на своей баланде. Не прибегая к соответственным стихам Высоцкого, говорил им (не оглядываясь на замполита) о больших людях, по — разному, подчас и несправедливо попадавших за решетку, о некоторых из них, кто и в тюрьме чувствовал себя, как на воле, свою душу пытаюсь обратить на праведное, приводящее к Богу. Разумеется, вспомнил и Прасолова, который прошел здесь путь от грузчика до библиотекаря, прочитал два его стиха про каменоломни, кажется, что-то отозвалось в просветлевших глазах, да, надеюсь, и душах заключенных. «Вижу, вы их заинтересовали, что-то в них откликнулось», — сказал после нашей встречи замполит (Виктор Иванович Бойков). Он велел принести для меня копию тюремной прасоловской справки, и непривычно, тяжело было видеть эту справку со словами о пребывании здесь поэта — безликие, формальные слова, какими заполнялись бумаги множества заключенных.

НЕОЖИДАННЫЙ ЛИ АВГУСТ?

Август 1991 года. ГКЧП, то есть Государственный комитет по чрезвычайному положению. Что-то нелепое, жалкое в этой скамейке уже явно беспомощных руководителей страны — словно бы самопотопляемой каравеллы.

Вскоре собрание, на котором — деление Воронежской писательской организации. А перед тем критик Анчиполовский хвалит мою большую статью «И у нас с вами...» (как раз о трагедии разделений), опубликованную в «Подъеме», и вдруг... демарш, мы, дескать, выходим из Союза писателей по идеологическим соображениям и вливаемся во вновь создаваемый — никем не контролируемый, никому не обязанный, свободный... Я попытался возразить, урезонивал: мы как писатели за письменным столом всегда свободны — каждый сам по себе, во власти своего сердца и ума, но для добрых общественных деяний нам требуется организация, единство, союз; мы же отстояли бунинский домик и иное важное, будучи именно в единстве.

Какое там! Разделимся!.. Или для того, чтобы попасть во власть, коль скоро верхушке этой новой власти соответственными энтузиастами саги уже поются?

ВОЗГЛАВИТЬ «ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР»?

Позвонили из городской администрации. Некто ведающий прессой сказал, дескать, «многое о вас слышал от людей достойных, разных убеждений» (не преминул подчеркнуть последнее). «Вы бы не взялись возглавить “Воронежский курьер?”» Тогда я спросил: «Вам приходилось читать что-либо мое?» — «Да», — он назвал две еще доперестроечные вещи, естественно не столь остро публицистичные, как нынешние — по отношению к перестроечной власти. И я ему предложил ознакомиться с моими последними публикациями, и пролистать хотя бы одну из моих последних книг: «Если вы разделяете их дух, позвоните на следующей неделе». Звонок не последовал.

РАССТРЕЛЯН РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Едва не каждый отечественный дом все более убеждается, что очередное разрушение, наносимое России и всякому честному, порядочному человеку, угнездилось в Ельцине и его семье, его сомышленниках и соделателях, никто из которых не надоумил своего патрона не повторять, как на заигранной пластинке, заклинания — дескать, все делается ради реформ. Ради человека надо делать, «гарант»!

(Здесь, правды ради, требуется упомянуть, что Ельцин в начале перестроечной тяжбы с Горбачевым был поддержан многими: наврное, сказались и обольщения народа, и его усталость.)

Четвертого октября 1993 года — расстрел Верховного Совета. Небывалая, кроме разве что банановых республик, кровавая расправа с парламентом... Не похоже ли на тридцатилетней давности фашистский расстрел-погром президентского дворца в Чили?! Чем еще порадует Россию этот человечище, управляемый водкой, внешними и внутренними поводырями и собственными бедноумием, властолюбием, пустословием?!

В эти переломные, постперестроечные реформаторские годы часто чувствую себя в положении человека (офицера-монархиста, дворянина, священника, крепкого крестьянина — любого, позже карательной большевистской властью и прессой названного «лишним»), не принимающего «триумфального шествия» большевизма. А теперь — либерально-рыночного неольшевизма. Тогда — в лютые холода постреволюций и гражданской войны — с кладбищ кресты обламывали и жгли, теперь — стариков и старух не удается проводить в последний путь по-людски достойно: финансовая часть авантюрной реформы ограбила их «похоронные».

ПОМНИМ ЛИ, ЧТО ДОЛЖНО ПОМНИТЬ?

Память — сила требовательная и жесткая и вовсе не для всех удобная. Она включает в себя всю национальную и мировую историю — героическое и предательское, славное и бесславное, высокое и низкое, свет и мрак. Иные не прочь отсечь трудное, бесславное, мрачное, трагическое в нашем прошлом, ограничась полупамятью. Все-таки одновластного полюса не существует. Даже в дни, полные стыда от невежественных действий верховной власти, в дни неслыханного унижения военных, беззарплатного выживания мирных — даже при этом в провинции пробиваются ростки созидательные, памятные. К нам вернулся Черняховский, защитник и освободитель Воронежа на переломе Великой войны.

(Когда-то в Вильнюсе я долго выстаивал у памятника Черняховскому, вглядываясь в него так, словно спрашивая о наших главных фронтовых и мирных будущих днях и не находя ответа; долго его фотографировал: или предчувствуя, что он окажется изгнанником?)

Летом 1991 года стало известно о намерении Вильнюса демонтировать памятник. Областной и городской совет обратились к российскому президенту и в правительство Российской Федерации с просьбой: договориться с Литвой — передать памятник Воронежу. Ни слова — ни полслова ответных. А события развивались стремительно. Стало известно, что памятник будут рушить в ближайшие дни. Тогда новый начальник Воронежского городского управления культуры Иван Петрович Чухнов взял билет на литовский поезд, помчался туда без всяких командировочных; встретился с мэром, но тот сказал ему, что «захватчика» бросят в переплавку, вот разве обменять его на ценности Тартуского университета, когда-то эвакуированные в Воронеж... Иван Петрович почувствовал, что надо решать иначе. Он встретился с командиром войсковой части, они поняли друг друга с полуслова — тем не менее, обстоятельно наговорились в душевном для двоих застолье. Ночью краном войсковой части памятник со всеми предосторожностями был снят, доставлен в часть, где для него тут же сколотили деревянный саркофаг и пометили: «Армейское имущество». Через несколько недель покидавшая Литву воинская часть доставила памятник в Воронеж. Стали собирать деньги на установку, собирали по крохам.

...9 мая 1993 года памятник установлен на привокзальной площади имени Ивана Даниловича Черняховского.